

**18+**

**Иринарх Кромсатов**

# ЛЯРВА

**ОНА ВЕРНЁТСЯ...**

Триллер и ужас

Иринарх Кромсатов

**Лярва**

«Продюсерский центр ротации и продвижения»

2021

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2=411.2)6-44

**Кромсатов И.**

Лярва / И. Кромсатов — «Продюсерский центр ротации и продвижения», 2021 — (Триллер и ужас)

ISBN 978-5-907379-47-3

С первых страниц романа главная героиня совершает страшные вещи: в хмельном угаре убивает мужа, истязает собственную дочь, занимаясь проституцией и заставляя делать то же самое несчастного ребёнка, превращает её в инвалида, сажает на цепь вместе с собакой – и всё эти бесчинства творит с ведома соседей и односельчан. Казалось бы, добро полностью побеждено злом, и некому встать на защиту детства, некому покарать злодея. Однако всё же находится группа людей, решающих спасти ребёнка, освободить его из когтей ужасной матери. Суд, лишение родительских прав, переселение дочери-инвалида в детский приют дают, казалось бы, надежду на победу света над тьмою. Однако согласна ли мать остановиться и сдаться без боя? Не готовит ли она ответный удар «борцам за правду»? Нет ли у неё, наконец, союзников в российском обществе, способных не только поддержать её делом, но и идейно обосновать, оправдать её деяния и даже сделать их, быть может, новой Благою Вестью? Кто же здесь главный злодей? Жестокая и бездушная мать? Или идеолог, оправдывающий её преступления?

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-907379-47-3

© Кромсатов И., 2021

© Продюсерский центр ротации и  
продвижения, 2021

# Содержание

Часть первая	8
Глава 1	8
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	23
Глава 5	29
Глава 6	37
Глава 7	43
Глава 8	48
Конец ознакомительного фрагмента.	53

## Иринарх Кромсатов

### Лярва

*На обсуждение был поставлен следующий вопрос: не следует ли стереть йеху с лица земли? Один из членов собрания... утверждал, что йеху являются не только самыми грязными, гнусными и безобразными животными, каких когда-либо производила природа, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью. Он напомнил собранию общераспространённое предание, гласившее, что йеху не всегда существовали в стране, но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных, и были ли они порождены действием солнечного тепла на разлагающуюся тину или грязь, или образовались из ила и морской пены – осталось навсегда неизвестно; что пара эта начала размножаться, и её потомство вскоре стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну.*

*Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера*

*Осторожно: книга содержит жестокие сцены насилия.*

*Любое сходство с реальными людьми исключается, все события, в том числе преступления, являются вымышленными*

# ТРИДЕР И УЖАС



© Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, поэтов и прозаиков, 2021

## Часть первая

### Глава 1

Червь на удивление быстро и ловко вывинтился из куска протухшей требухи, потерял опору для своего белого и скользкого тела и кубарем свалился в миску дворового пса. Бестолково повертевшись в разные стороны своим заострённым и безглазым концом, он безошибочно определил, что за пределами миски лежит ещё одна куча гниющих отбросов, называемая хозяйкою дома «собачьей едой», и резво задвигался всем телом в ту сторону.

Этих червей принято именовать «трупными», хотя родители их – обычные комнатные мухи – вовсе не всегда откладывают свои яйца в трупы. Этот экземпляр, например, появился на свет именно здесь, прямо в миске пса – того самого, который сейчас лежал, сонно хлопая большими слезящимися глазами, и равнодушно косился иногда на телодвижения своего неприятного соседа, ибо миска находилась в непосредственной близости от собачьей морды.

Хозяйка называла этого пса Проглотом. Он родился три года назад, когда ещё был жив хозяин. Вначале это был милый рыжеватый щенок, большеголовый и пучеглазый, и ничто не выдавало в нём того огромного и косматого чудовища, в которое он превратился позднее. Сами хозяева его матери никак не могли ожидать столь поразительной метаморфозы с данным помётом, ибо разродившаяся тремя щенками сука была из охотничьей породы, не отличающейся большими размерами. Однако виноваты сами: они не уследили за ней. Будучи охотниками и используя свою собаку в соответствии с её биологическими свойствами, они как-то раз остановились после охоты на ночлег в первом попавшемся домишке ближайшей деревни, где их согласились принять и где на дворе жительствовавший громадных размеров беспородный кобель. Вероятно, за сукой в ту ночь не уследили, и она, ночевавшая всегда в доме, выбежала каким-то образом во двор... Наутро её обнаружили безмятежно спящую рядом с кобелём, и хозяину стоило немалых усилий отогнать его от своей любимицы. Может быть, некие подозрения и закрались тогда в душу пребывавшего в похмелье хозяина, однако скоро забылись, а вспомнились снова только через два месяца, когда родились на свет три башковитых щенка. По ходу их взросления отклонения от породы стали очевидны, и хозяин принял уже было решение об утоплении, однако, на счастье Проглота, в очередной раз отправился на охоту и заглянул к своим старым знакомым, жившим в уединённом доме на окраине посёлка. Во время вечернего застолья один щенок был испрошен главою этого дома к себе в собственность и быстренько ему доставлен (пока не передумал). Это и был Проглот, в отличие от двух своих братьев и сестёр, избежавший утопления.

Щенок быстро рос и первоначально только радовал своих хозяев игривостью и веселонравием. Когда же нараставшая масса тела стала требовать и немалого количества пищи, хозяйка сменила милость на гнев и, поименовав пса раз навсегда Проглотом, взяла за правило не только бранить его, но и бывать всем попадавшимся под руку. Приходившие в этот дом собутыльники хозяев – ибо хозяева пили, и пили страшно – не раз бывали свидетелями прилежавшего в Проглота полена, опускавшейся на его спину кочерги и даже толкаемой ему в морду швабры с горящею тряпкой на конце. На все побои он отвечал отчаянным и пронзительным скулежом и беготнёй на цепи вокруг будки, провожаемый криками и ударами хозяйки. «У, сволочь! – слышалось каждый день во дворе. – И когда ты только нажрёшься! Этому дай волю – и меня саму съест!» Она резко сократила количество выносимой ему пищи, да и пища эта оставляла желать много, много лучшего своим видом и качеством.

Чаще всего это были вконец протухшие остатки супа или каши хозяев, впавших в очередной многодневный запой и забывших убрать пищу со стола в холодильник, либо самые



скудные объедки. Такая еда более подходила тому самому путешествующему по миске червю, нежели здоровому и теплокровному животному. Посему вполне понятно, что только вступивший в расцвет физических сил Проглот стал на глазах чахнуть и сохнуть, всё чаще заканчивать приём пищи обильною рвотой и всё реже высовывать нос из будки, особенно когда во дворе появлялась свирепая хозяйка.

Мог ли вечно пьяненький хозяин защитить Проглота, когда-то испрошенного им самим у охотника? Мог ли он прикрикнуть на свою жену, вступить за пса, властно сказать, что он в доме хозяин и не потерпит такого отношения с бедным, беззащитным и добрым животным? Нет, не мог. А когда он всё же попытался это сделать, произошло совсем скверное...

Выше уже поминалось о роковой склонности этой четы к пьянству. Приходится признать, что склонность эта, год за годом укреплявшаяся, стала наконец неким средоточием и целью всего их существования. Поживившись и отселившись от родителей, они смолodu жили в самом крайнем доме посёлка, в доме, смотревшем одной стороной в лес, а другой – на мрачный заросший тиною пруд, более напоминавший болото и осквернявший всю окрестность гнилостными миазмами. По характеру этих испарений могло показаться, что в том болоте гниют трупы.

Когда молодой жене исполнилось двадцать шесть лет, а её мужу – тридцать, у них родилась девочка, названная не то Соней, не то Тоней. На тот момент все бабушки и дедушки несчастного ребёнка уже умерли – кто от пьянства, кто от болезней, а кто и в петле, – а мать, по слухам, так и не получившая свидетельство о рождении либо потерявшая его тотчас по получении, проснувшись как-то раз после очередного смертного и страшного запоя, посмотрела на дочь полубезумными глазами и спросила заплетающимся языком: «Тебя как зовут, девочка? Ты Тоня, по-моему?.. Нет, Соня, точно Соня!.. А ну-ка иди сюда, Тонька, дай-ка я тебя приласкаю!» Она совершенно серьёзно и искренне позабыла имя родной дочери и называла её то Тоней, то Соней, в иные дни, неизвестно почему, Катей, а затем стала называть совсем другим именем, но об этом будет сказано позднее.

Тёмное, беспросветное, запойное пьянство, выкашивающее из рядов живых целые семьи и сёла, поражающее, точно моровая язва, лучших и достойнейших членов общества наряду с обычными жителями, – сия страшная зараза поразила и эту семью. Поразила столь же безнадежно и печально, сколь и неотвратимо, ибо мрачные её признаки имелись у родителей обоих членов семейства, отмечались и у дедов, пышно цвели у прадедов. В общем, было с кого брать пример и на кого равняться.

Побуждаемые к тому примерами всех друзей и родственников, они тоже запили – и покатились. Начинали, как водится, «по чуть-чуть», а закончили полнейшим скотством.

Как они жили семь первых лет, прошедших после рождения единственной дочери? Постоянной работы не было, перебивались случайными заработками и приёмом на постой охотников и грибников, нередко находивших ночлег в их доме благодаря его окраинному положению в деревне и близости к лесу. Муж иногда уезжал в город, где работал грузчиком либо на стройках, жена иногда устраивалась уборщицей, билетёршей, обоих скоро увольняли за пьянство, и они возвращались домой, в склизкие объятия своего порока, в которых пребывали беспробудно дни, недели, месяцы...

Когда девочке исполнилось четыре года, зимней морозной ночью её отец спьяну заблудился в родной деревне, долго блуждал по тёмным закоулкам, всеми прогоняемый и бранимый, пока наконец не добрался до ограды собственного дома, где так и не смог найти ворота и заснул в снегу. Наутро, обмороженного и едва живого, его нашли чужие люди (так как жена была в беспамятстве) и доставили в больницу, где врачи были вынуждены ампутировать ему все пальцы ног и три пальца на правой руке. Таким образом, костыли стали неотъемлемой частью портрета этого человека, а так как работать он более не мог, то повис обузой на шее своей жены, чем и заронил в её душу зачатки озлобления.

Мрак и всё нараставшая злоба вошли в дух этой женщины, обида на всех и вся и обвинение в своих бедах кого угодно другого, кроме себя самой, охватили и поглотили её. В пьяном угаре она всё чаще скандалила со своим мужем и начала, наконец, его бить, и бить чем дальше, тем страшнее. Била палкой, утюгом, шваброй, плескала на него кипятком, кидалась на него с ножницами, сопровождая свои нападки самыми ужасными ругательствами и проклятиями. Однажды он проснулся от недостатка воздуха для дыхания и, открыв глаза, убедился, что прямо над ним возвышается силуэт его жены, которая, дико сверкая зелёными глазами в лунном свете, освещавшем одну её голову, оплела полотенцем шею мужа и душит его. От радикального и печального конца несчастного тогда спас визит очередной группы охотников, которые без стука ввалились в дом, и жена, присмирив, вынуждена была отложить своё намерение и предаться с гостями пьяному загулу.

Девочка росла и взрослела в этих условиях. Её ничему не обучали, её едва кормили, а зачастую забывали даже и об этом. Когда родители и их гости в беспамятстве засыпали, она украдкой выбиралась из своего угла, где всегда тихонько сидела, подбегала к столу и питалась остатками закусок, которые затем не забывала выносить Проглоту, появившемуся в их доме по достижении ею шести лет. Именно от Проглота она узнала о существовании в жизни такого понятия, как мытьё и очистка от грязи собственного тела. Увидев однажды, как он плещется в луже недалеко от своей будки и затем, взъерошив шерсть, стряхивает с себя воду, она забавы ради повторила эту процедуру и, заметив при сём, что различные исходившие от неё неприятные запахи после данных действий поуменились, потом старалась мыться сама, и не только в лужах, но и в бочках, стоявших по углам дома для сбора дождевой влаги.

Взаимоотношения её с родителями ограничивались крайне убогим набором фраз. По имени ни мать, ни отец к своей дочери никогда не обращались, так как просто-напросто это имя не помнили. «Брысь», «вали отсюда» и «убирайся» – вот наиболее типичные фразы, которые дочь с самого раннего детства слышала от своих родителей, попадаясь у них на пути. Бывало также, что ей говорили «эй» и приказывали подать или выбросить что-либо, помыть пол или убрать со стола. Ни нежности, ни любви, ни хоть какого-нибудь внимания от своей матери она никогда не видела и всегда чувствовала от неё лишь досаду на самое своё существование. Отец, с пьяной слезы, иногда всё же поглаживал девочку по голове и даже называл «дочуркой», – однако трезвым всегда бывал зол и пребывал в раздражительном поиске очередной дозы спиртного. В минуты, когда оба родителя бывали трезвы, дочь получала от них наибольшее количество пинков, тумачиваний и ругательств. Такой образ жизни не мог не привести к формированию у девочки целого сонма страхов, забитости и молчаливости серой мышки, постоянно ищущей щёлку, куда бы забиться. Она хоть и умела говорить, но почти не говорила, а если и произносила какие-то слова, то – вследствие ли редкости таких фактов или из боязни быть грубо перебитой родителями – произносила их с какою-то странно лающей, отрывистой, гнусавой интонацией.

В шестилетнем возрасте она была по-прежнему неграмотна, как и в девятилетнем, то есть ко времени начала нашего повествования. Не будет далёким от истины сказать, что родители её начисто забыли о существовании школ и о необходимости дать своему чаду среднее образование. Вопрос об обучении ребёнка просто-напросто не вставал перед вечно туманным сознанием родителей. Впрочем, ко времени, когда все нормальные дети начинают ходить в школу, к семилетнему возрасту эта девочка подошла наполовину сиротой.

Обстоятельства смерти её отца, неожиданные и печальные, лишили её последней возможности хоть какой-то защиты в этом доме и, словно в довершение к уже испытанным страданиям от ближайших родственников, привнесли в её жизнь понятие убийства от руки близкого человека.

## Глава 2

Это случилось поздней осенью. Однажды в ноябре, холодным и ветреным вечером, хозяин и хозяйка пили вдвоём, не дозавшись к себе за стол никого из соседей и не имея ни одного постояльца. Жена была в тот вечер особенно не в духе и, избив во дворе Проглота, зашла в дом, стала предаваться с мужем возлиянию и метать беспричинно недовольные взгляды на свою дочь, сидевшую тихо в углу. Наконец мать взялась за ремень и стала хлестать им ребёнка, бормоча невнятные ругательства и обвинения. Девочка плакала громче и громче, пока, наконец, своим пронзительным плачем не растеребила сердце отца, к тому моменту уже лежавшего головой на столе и почти бессознательного. Приподнявшись на костылях, он выхватил из рук жены ремень и хлестнул её саму, приговаривая:

– Ты совсем ополоумела или как? Отстань от девки!

Жена воззрилась на него невидящим, остановившимся, полубезумным взглядом. Некая чёрная тень мелькнула в её глазах, гневная эмоция тотчас обернулась в ужасную мысль, и агрессия к мужу, до поры до времени спавшая, внезапно ослепила её вполне конкретным кровавым желанием.

– Ах ты, в защитники подался, скотина! – завопила она срывающимся от гнева голосом. – Ну, тогда получай же сам!

И неистово ударила его кулаком по лицу. От первого удара он покачнулся, но устоял, ословело хлопая глазами. Тогда жена взяла табурет и, размахнувшись, ударила им своего мужа сбоку, прямо в ухо. Он с рёвом полетел на пол и далее только молча закрывался руками. Ударив мужа сверху вниз табуретом ещё два раза и расколов последний на части, хозяйка, продолжая сквернословить словами, от которых кровь стыла в жилах, кинулась на кухню за другим оружием. Ребёнок заходился в крике и, истерически плача, зажимал ручонками уши, наблюдая эту сцену.

Мать вернулась со скалкой в руках, неспешно подошла к мычащему супругу, засучила рукава, сдула с лица прядь волос и принялась сверху вниз плашмя бить, и бить, и бить мужчину своим орудием, лишь изредка выдыхая, с шумом вновь набирая воздух и цедя сквозь зубы:

– Давно... ох и давно же... пора было... это... сделать!

С каждым ударом хмель выходил из неё, голова просветлялась, движения рук убыстрялись (она била то правой, то левой рукой, то обеими). И вот наконец в комнате оказалась уже не жена и не мать, а страшная фурия, которая совершенно осознанно и яростно, войдя в раж, с горящими неистовым пламенем глазами вершила убийство собственного мужа!

Когда руки его были отбиты в кровь и потеряли чувствительность, они бессильно упали, открыв для ударов голову, и в этот момент он закричал – дико, протяжно, обречённо. Следующий удар в лоб лишил его сознания, второй удар сломал нос, третий – выбил глаз, а четвёртый – проломил череп. Она ещё долго была бездыханное тело супруга, нанеся по нему не менее двадцати ударов, превратив голову в бесформенный кровавый сгусток, пока наконец силы не оставили её. Скалка со стуком упала на пол, а фурия села на пол рядом с трупом и долго не могла восстановить дыхание.

Дочь в этот момент уже не плакала, а молча закрывала мокрое лицо руками и, помертвев, в страхе приглушив вдохи и выдохи, подглядывала сквозь пальцы. И сквозь пальцы, сквозь стоявшие в глазах слёзы она увидела, словно в тумане, следующее: вот её мать щупает пульс убитого мужа, вот прикладывает пальцы к его шее, вот встаёт на ноги и, кряхтя, пытается тащить тело. Эти попытки оказываются тщетными, и вот мать, подумав о чём-то, направляется к кухне, но в эту минуту вспоминает о свидетеле своего преступления и оборачивается к дочери... Леденящий, острый, пронзительный ужас сотряс в эту минуту всё тельце семилетней девочки, и она едва не лишилась чувств от страха, глядя в неподвижные и безмысленные глаза

матери, видя, как мать покачала головой, нахмурила брови и словно бы нехотя направилась в кухню.

Из кухни она вернулась минут через пять, неся в руках топор и длинный нож для разделки мяса, а также три больших матерчатых мешка.

– Вон отсюда, сучка! – тихо и хрипло сказала мать, бросив всё принесённое рядом с трупом. Девочка растерянно моргала и, медленно отнимая от лица руки, не могла понять, чего от неё требуют.

– Пошла вон отсюда, если не хочешь попасть в мешки вместе с этой скотиной! – вдруг завопила страшным голосом мать, и до того ужасен был этот крик, что девочку подбросило кверху, точно на пружине, и она пулей вылетела во двор, в темноту.

Не чувствуя ни холода, ни пробирающего до костей ветра, ощущая до сотрясения лишь смертный ужас, она металась некоторое время возле дворовых построек и кустарников, ища укрытие, но всюду ей казалось слишком светло, слишком заметно для глаз матери, которая могла появиться во дворе с минуты на минуту. В ту ночь, как на беду, было почти полнолуние, и огромный диск луны ярко освещал окрестности. Кроме того, немало света падало и из окон дома. Замерев и не зная, куда деться, она вдруг услышала ворчание Проглота и стремглав кинулась в его будку. По счастью, покойный отец смастерил это жилище для пса весьма вместительным, и девочка не только поместилась в нём сама целиком, но и пыталась ручками удерживать внутри Проглота, чтобы он своим тёплым шерстистым боком закрыл от неё вход в конуру и вид на зловеще яркие окна родного дома. Собака, однако, не захотела такого соседства, пару раз гавкнула и с недовольным урчанием выбралась наружу. Проглот и сам чувствовал себя не лучшим образом после перенесённых побоев и упорно зализывал перешибленную лапу. Поэтому он не стал отходить далеко, прихрамывая, покрутился на месте и улёгся на землю тут же, возле входа в будку. Таким образом, входное отверстие было открыто, и свернувшийся калачиком в будке ребёнок смог видеть всё, что происходило далее. Видеть и слышать, ибо входная дверь в дом оставалась чуть приоткрытой.

Вначале звуков почти не было, слышалась лишь какая-то возня из комнаты. Затем всё стихло совершенно, лишь порывы ветра завывали в щелях гостеприимного жилища Проглота. И вдруг раздался первый удар – глухой, тяжёлый и какой-то до ужаса тошнотворный, как если бы острое лезвие стали, врубившись в мягкую податливую плоть, попутно раскололо бы и кость с мерзким хрустом. Следом последовала череда таких же глухих и чавкающе-хрустящих ударов. Свет в комнате падал так, что на шторах окна отчётливо был виден силуэт женщины, поднимающей и опускающей топор. Она переходила с места на место, поворачивалась, примерялась, била под разными углами... Звуки врубания топора во что-то мягкое были хлюпающими и отвратительными. Не всегда удар попадал в цель, иногда она промахивалась и вонзала лезвие прямо в доски деревянного пола. Замерев и не отдавая себе отчёта в происходящем, девочка слушала эти звуки и смотрела на окно. Затем топор со стуком был отброшен и силуэт в окне опустился на колени. Ещё какое-то время можно было слышать очень тихие елозящие звуки острой стали по дереву. А потом наступила гнетущая тишина.

Первым почувал неладное Проглот: он вдруг резко поднял голову, затем вскочил, подскуливая, и ретировался, спрятавшись позади будки. Почти тотчас входная дверь дома медленно и без скрипа стала отворяться, и в проём выглянуло белое, как простыня, женское лицо, покрытое чёрными в лунном освещении пятнами. Притаившийся в конуре ребёнок каким-то чутьём понял, что лучше не задумываться об этих пятнах и их происхождении. Осмотревшись, женщина повернулась задом и выволокла за собой на крыльцо большой мешок. При виде этого бесформенного угловатого мешка с крупными влажными пятнами, различимыми в призрачном освещении, девочка вдруг почувствовала, что её трясёт крупной нервной дрожью, а зубы стучат так громко, что она в страхе прикрыла рот рукою, чтобы не быть услышанной. Пыхтя и сопя, мать проволокла мешок мимо конуры и проследовала с ним к воротам. Кое-где в деревне

слышались звуки музыки, крики, смех, однако в проулке возле их дома никого не было, да и стоял дом на достаточном отдалении от ближайших строений, скорее ближе к лесу и пруду, чем к другим домам поселения. Затаив дыхание, девочка по звуку влекомого по земле мешка поняла, что мать, выйдя за ворота, повернула к пруду. Видимо, она тащила мешок с останками, давая себе отдых, так как только минут через десять раздался тихий и жуткий всплеск.

После того как второй мешок постигла та же участь и мать волокла по двору третий, она внезапно вспомнила про дочь и остановилась прямо возле собачьей будки, из-за которой тотчас раздалось громкое и жалобное скуление Проглота, словно просившего, чтобы его не трогали. Мать хотела что-то сказать, но скопившаяся в горле мокрота не дала ей этого сделать, и она вынуждена была прокашляться, после чего тихо и хрипло бормотнула, словно обращаясь к самой себе:

– Ты куда подевалась, маленькая дрянь? Лучше появишься к моему возвращению, чтобы отделаться только поркой!

Ответом ей была мёртвая тишина – даже пёс словно замер в ужасе. Бормоча что-то невнятное, мать повлекла последний мешок к пруду, и спустя время раздался всё тот же зловеший всплеск.

Вернувшись, хозяйка ругнулась в адрес Проглота и принялась шарить по кустам, разыскивая дочь и приговаривая:

– Ты выйдешь по-хорошему али нет, сучка? Или ещё и с тобой мне возиться?

Нечего и говорить, что девочка в это время лежала в конуре ни жива ни мертва и скорее предпочла бы нырнуть в вонючий и гнилой пруд вслед за своим отцом, чем посмотреть в страшные глаза матери. Трудно сказать, какие были в ту ночь намерения матери относительно дочери, однако она не нашла девочку, через некоторое время уже как будто и забыла, что она такое ищет, остановилась в недоумении и, повертев головой, решительно направилась в дом, где принялась снимать стресс с помощью водки.

Утро следующего дня мать встретила в мертвецком и тяжёлом забытии, в абсолютно животном состоянии, а её дочь – всё так же, в конуре, в обнимку с Проглотом, греясь о него всем своим маленьким тельцем. Мать не очнулась до вечера, а так как дочь смертельно боялась её и ни за что не решилась бы войти в дом в поисках пищи, то день для неё прошёл впроголодь.

А к вечеру в доме появились гости. Это были четверо мужчин с ружьями и пузатыми рюкзаками, которые в азарте поисков добычи слишком удалились от своих автомобилей, вышли вечером к крайнему дому посёлка и решились попроситься на ночлег. Хозяйка встретила их на крыльце заспанная и недовольная, в ужасающем похмелье, однако дозволила пройти в дом по причине полнейшего оскудения в деньгах. Впрочем, прежде чем они вошли, она вдруг пугливо оглянулась и попросила их немного обождать, пока она уберётся в доме. И они стояли во дворе и ждали, пока убийца моет пол и удаляет следы своего преступления.

В это время одного из охотников заинтересовал пёс. Он наклонился к конуре и принялся заигрывать с Проглотом, пытаясь выманить его наружу. Без большого труда ему это удалось, так как стоило оказаться в его руках колбасе, как голодный пёс немедленно выбрался из своего жилища и стал попрошайничать. Здесь-то и открылась изумлённым взорам мужчин девочка, прятаясь в той же собачьей будке.

– Эге, да тут коммунальная квартира, как я погляжу, – протянул один из охотников, поднимая на руках девочку, пребывавшую от всего пережитого в расслабленном, если не сказать шоковом состоянии.

– Ну и лярва же её мамаша, если позволяет своей дочурке спать в конуре с собакой! – прибавил его приятель.

Мамаша в эту минуту как раз выглянула из сеней, желая пригласить гостей войти в дом, и увидела на руках мужчины свою дочь. Самое время описать эту женщину. Пристрастие к спиртному сделало своё дело, и в свои тридцать три года она выглядела на все пятьде-

сят. Невысокая, худощавая, лёгкая в кости, она имела непропорционально большую лобастую голову с узкими и мутными глазками, смотревшими всегда исподлобья. Взгляд её был пронзителен и неприятен, а после совершённого мужеубийства появилась в нём ещё и какая-то хищная, настороженная, опасная прилипчивость – не подозрительность, а именно прилипчивость. Волосёнки у неё были редкие, нечёсанные и с грязным душком, завязанные почти всегда в узел на голове. Одевалась обычно в длинную юбку и широкую кофту, которая придавала всем её движениям размашистость и угловатость, не имевшие ничего общего с женскою грацией. Главное же – это угроза и ежеминутная готовность к агрессии, которыми буквально дышала вся её фигура.

– Ах вот она где! – процедила хозяйка, пытаясь сохранить человеческий облик перед посторонними. – Мать с ног сбилась, ищет её, а она уже по рукам мужиков пошла...

С этими словами она схватила девочку за руку и грубо оттащила её от охотника, а когда ввела в дом, тотчас толкнула дочь в привычный для неё тёмный угол, где ниша позади холодильника и оконная занавеска образовывали некое укрытие от глаз – укрытие, позволявшее родителям забывать о собственной дочери на целые дни и ночи.

Притихшие мужчины зашли следом и стали выкладывать на стол принесённую с собой снедь и выпивку. Хозяйка помогала им, расставляла посуду и между делом расспрашивала, кто такие, откуда и много ли набрали дичи. Постепенно завязалась общая беседа, началось застолье и продолжалось до глубокой ночи. Часов около трёх пополуночи сидевшая в своей нише и настороженно не спавшая девочка услышала, как трое гостей отяжелевшими ногами прошагали в другую комнату, к постелям, и за столом остались только последний из мужчин и хозяйка. Оба были уже сильно пьяны, сквернословили и разражались то диким хохотом, то руганью в адрес родни, друзей, правительства и друг друга. Рассудок и последние остатки человечности постепенно оставляли обоих, уступая место животным инстинктам, и закончилось всё тем, что охотник овладел хозяйкою дома прямо здесь же, на столе, посреди стаканов и закусок. Нестерпимо уставшая и уже клонимая ко сну на своём табурете в углу девочка слушала все стоны и рычания, точно сомнамбула, и мечтала только об одном: чтобы они там поскорее затихли и дали бы ей спокойно заснуть, хотя бы и прямо здесь, за холодильником. Так в конце концов и случилось.

Утром она спросонья слышала, как мужчины один за другим просыпались, одевались и собирали вещи, затем гурьбой направились к выходу. Мать не встала их провожать, и тот, кто выходил последним, швырнув на стол какие-то деньги, сказал уже за порогом:

– Правильно ты её назвал: лярва и есть.

Видимо, у этих постояльцев оказалось немало знакомых: многие узнали о девочке из собачьей конуры и о её доступной матери. Но только с тех пор все, кто останавливались на ночлег в этом мрачном доме, называли хозяйку за глаза не иначе как лярвой. А поскольку собственное её имя спрашивали редко, да и называла она его неохотно, предпочитая общение без имён со случайными гостями, то постепенно заглазное прозвище уравнилось с собственным именем, а затем и вытеснило его. Так и стала она для всех Лярвой.

## Глава 3

Прошло два года, и наступил тот самый день, когда Проглот равнодушно наблюдал телодвижения трупного червя в непосредственной близости от своей морды. А глубоко в лесу, на достаточном удалении от дома Лярвы, в этот день произошли немаловажные и драматические события.

В конце октября, когда лес уже сбросил с себя листву и стоял голый и влажный, готовясь к приходу зимы, по золотому покрову из павших листьев гуськом шли три человека. День был пасмурный и холодный, и путники были одеты тепло, почти по-зимнему, благодаря чему только и смогли выдержать два ночлега в палатках при сырой погоде. В эти дни они почти не спали и били уток на утренних и вечерних зорях, с использованием чучел, на пролёте. Усталость после многодневной охоты понемногу заявляла о себе, однако ещё не могла перебороть всеобщее удовлетворённое возбуждение. Они были довольны, так как у каждого на счету были сбитые селезни, а кроме того, ни один подранок не был утерян.

По неписаному кодексу давней дружбы во время охоты они называли друг друга не настоящими именами, но исключительно прозвищами, обусловленными теми или иными событиями общего их увлечения. Например, при том что охотились они втроём обычно на уток или зайцев, одному из них, старейшему и высокому чернобородому мужчине лет сорока пяти, пришлось как-то раз случайно повстречать волка и убить его – отсюда и закрепилось за ним прозвище Волчара. Другого называли Дуплетом за то, что в минуту охотничьего возбуждения редко мог совладать с собою и выстрелить только из одного ствола своей двустволки – чаще бил из обоих и мало того что рвал утку на части, но и распугивал её сородичей. Третьего именovali Шалашом за мастерство быстро и бесшумно возводить эти нехитрые укрытия. Обоим последним было за сорок лет, и если Дуплет был приземист, мясист и телом, и лицом, рыжеват и не в меру разговорчив, то Шалаш, напротив, чрезвычайно худобой и молчаливостью, при высоком росте и смуглой дочерна коже, являл полную ему противоположность.

Лес тихо и печально окружал путь этих людей со всех сторон, и в его мрачном безветренном молчании, в тихо опадающих последних листьях, в хрустящих под ногами сучьях было что-то гнетущее и зловещее. День понемногу клонился к вечеру, и воздух, напоённый кристально чистой свежестью, казалось, почти звенел под сводами чёрных узловатых ветвей лиственного леса. Дойдя до границы двух лесов, где осины и берёзы до странности резко, почти по линейке замещались елями и соснами и где тропа далее тонула и терялась во мраке широких и густых ветвей хвойного леса, Волчара скомандовал: «Привал», – и, шумно выдохнув, поставил одну ногу на ствол поваленной ветром гигантской ели.

– Всё, надо отдохнуть минут пять, – сказал он. – До машин мы посветлу не вернёмся. Не успеем. Что ты там говорил о деревне, Дуплет?

Дуплет неспешно поставил на землю рюкзак и положил оружие. Вслед за ним это сделали и остальные. Жадно сделав три глотка из фляжки, он повернулся к Волчаре:

– Да чёрт её знает! Здесь она где-то, скоро должна быть... Ничего, найдём. У нас ведь всегда так бывало, когда новый край осваивали. Приходилось поблуждать перед ночлегом. Помнишь ту старуху на полянке, когда мы чуть не заблудились? И только женщина смогла избавить нас от отчаяния!

Он захохотал над каким-то памятным всем троим событием, чем вынудил заулыбаться и остальных.

– Не напоминай ему о женщинах, – хмыкнул Шалаш, кивнув на Волчару, – а то он из нас самый любвеобильный. Ещё закручинится...

– Так я и не трогаю женщин! Я о лесной старушке, слышь, Волчара? – Дуплет хитро подмигнул Шалашу, хохотнул и добавил: – А старушка в лесу – это ведь практически Баба-яга!

Волчара отмахнулся, подошёл к могучей, необхватной сосне и сладко потянулся, поочерёдно похрустывая членами. Изогнувшись всем телом, он запрокинул голову кверху и увидел на дереве глубокие косые царапины, которые не вызвали в его сознании никаких ассоциаций, и он тотчас забыл о них. Между тем эти царапины пусть редко, но встречались уже им раньше в лесу по ходу движения и так же не привлекали к себе должного внимания. И напрасно.

– Я думаю так, – продолжал Дуплет, – что цель наша сейчас – добраться до этой деревушки, постучаться в первый попавшийся домишко и попроситься на ночлег, потому как альтернатива этому – только очередная ночёвка в лесу. – Уперев руки в бока, он принялся медленно по кругу обходить поляну, на которой был сделан привал. – Не знаю, как вам, а мне эти ночёвки до смерти надоели, и я просто-напросто хочу согреться в баньке, сколько бы ни пришлось заплатить за это удовольствие. Даю полцарства за баньку! Вот представьте картину: сидим мы за столом, накрытым кружевной скатёрочкой. Кругом тепло и сухо, ноги наконец в тепле, над нами висит уютный абажурчик и этаким, знаете, тёплым приглушённым светом светится, желтоватым. Ну а вокруг нас, само собою, хлопочет какая-нибудь сельская Матрёна!

– Притом абажур в цветочек, а на нижней половине окна – отглаженная занавесочка, постарушечьи. – мечтательно вставил Волчара.

– Вот-вот, – подхватил Дуплет. – Но, несмотря на такую занавесочку, хозяйюшка-то наша пышна телесами, изобильна власами и игрива глазами... И наливает-то нам этакая русская дива с толстой косой через плечо – что бы вы думали? – конечно, холодную водочку из запотевшей бутылочки, а весь-то стол уставлен богатой закусочкой. Мня! – он принялся загибать пальцы: – Тут тебе и огурчички малосольные, и груздёчки сопливые, и парящее блюдо с отварною телятинкой, и кабанчик-то с пылу с жару на вертеле, и стерлядочка-то.

– Ну, со стерлядочкой ты уж хватил, в деревенской-то глуши! – хмыкнул Волчара.

– Ничего, дай помечтать мученику охоты! – Дуплет остановился в самом тёмном углу поляны, где разлапистые ели образовали плотный труднопроходимый шатёр, весь опутанный паутиной, и начал внимательно вглядываться во что-то, привлёкшее его внимание и находившееся позади ветвей. – И чтобы при этом была неспешная беседа допоздна, и шуточки-прибауточки, и чтобы. – Он даже присел на корточки, затем опять поднялся и наклонился вперёд, ступив на шаг вглубь бурелома и раздвинув руками ветви. – И тут вдруг выясняется, что хозяйюшка-то наша – вдовица, отчего вечер становится ещё более... интересным.

Он вдруг замер и неподвижно стоял некоторое время, будто боясь пошевелиться. Затем очень медленно повернул голову к остальным, и обнаружилось, что глаза у него дико выпучены, а лицо до того неестественно белое, словно его посыпали пудрой. Но ещё до того, как с уст его сорвался свистящий, исполненный ужаса шёпот, Волчара и Шалаш услышали за ветвями тихое и низкое рычание огромного зверя.

– Быстро и очень спокойно идите к ружьям, не поворачиваясь спиной! По-моему, это медведь.

Все онемели и некоторое время молча переглядывались, ещё не веря, не соглашаясь признать, что время дорого и что нельзя столь щедро тратить драгоценные секунды. Лишь когда позади Дуплета чёрная и грозная тень, ранее принимаемая за тень от деревьев и ветвей, вдруг сдвинулась с места и в мгновение ока переместилась на два метра левее, мужчины поняли, насколько опасно их положение. И оба шагнули к ружьям, так как Дуплет, похоже, впал в настоящий ступор и не мог пошевелиться.

Однако подлинное понимание ситуации пришло к ним при следующем их шаге, когда с другой стороны от Дуплета, правее, вдруг раздался высокий и надтреснутый голос какого-то другого животного, размерами поменьше – и на поляну выскочили сразу два медвежонка. Оба были совсем небольшие, вряд ли зимовавшие более одного раза. Тёмно-коричневые, косматые и башковитые, они были как две капли воды похожи друг на друга. Один из них, впрочем, сразу остановился и кинулся обратно под ветви, но другой, продолжая неуверенно порываться,



закосолапил ещё правее, по хорде вдоль проплешины в лесу, прямо к толстой и дуплистой сосне позади Волчары. Вокруг сосны стоял высокий и ещё не опавший наземь сухостой из трав, который и укрыл малыша, опрометчиво кинувшегося прочь от матери.

Сложилась та самая ужасная и смертельно опасная ситуация, когда между матерью-медведицей и её медвежонком оказался человек, да не один, а целых двое – Дуплет и Волчара. Люди представляли собою препятствие на пути матери к её детёнышу. Шансов выжить в таком положении у любого живого существа крайне мало, и все трое охотников это мгновенно поняли. А понявши, до сотрясения остро ощутили древний, панический ужас перед близкою смертью.

Раздался ужасающе громкий рёв – и медведица, ломая ветви, ринулась вперёд. Из-за густых ветвей показалась её влажная пасть с огромными устремлёнными вперёд клыками и чёрные губы, крупно дрожавшие от исторгаемого при рыке воздуха.

В этот момент Волчара уже хватал ружьё, а Шалашу до своего оставалось сделать два прыжка. У Дуплета молнией пронеслось в голове, что сейчас он находится между матерью и одним из её детёнышей, но сделай он шаг назад, под ели, и окажется между нею и другим медвежонком, поэтому путь к спасению – только вперёд, хотя и очевидно, что ему не успеть. Ошеренная огромная голова медведицы уже поворачивалась к Дуплету, когда он изо всех сил прыгнул вперёд в надежде, что удастся хотя бы плашмя приземлиться на своё ружьё, схватить его и успеть перевернуться с ним на спину, так как очевидно было, что встать на ноги времени не хватит. И когда он действительно упал на ружьё и в панике стал переворачиваться на спину, то осознал, что не смог ухватить оружие потными трясущимися руками. В это мгновение ревушая медведица уже склонилась над Дуплетом, а Волчара ещё только взвёл курок и начинал прицеливаться.

Выстрел прозвучал, когда клыки зверя сомкнулись вокруг предплечья защищавшегося рукой Дуплета и послышался его дикий, истошный вопль.

Волчара стоял от медведя на расстоянии не более десяти метров и прекрасно помнил, что все три ружья заряжены патронами с дробью. Это была утиная охота, иначе и быть не могло. Но какой ущерб косматому гиганту с толстой шкурой могла нанести трёхмиллиметровая дробь, рассчитанная на утку? Стрелять в разъярённого зверя имевшимся оружием было подобно самоубийству, однако другого выхода не было. Даже с близкого расстояния рассчитывать на положительный исход можно было только в том случае, если бы Волчара уметил медведю в глаз – но он даже не имел времени прицелиться и выстрелил только в нужном направлении. Несмотря на переживаемый панический ужас и тряску рук, Волчара попал в цель, с замиранием сердца ожидая, что подобный поражающий фактор только пуще разозлит и без того свирепую медведицу. Так и случилось.

Она нервно рыкнула, судорожно передёрнула кожей и выпустила из пасти окровавленную руку Дуплета, повернув морду к Волчаре. Осознав опасность с этой стороны, она тем не менее не желала расставаться с поверженным врагом, и её передняя лапа легла на грудь Дуплета. Видя краем глаза, что Шалаш тоже схватил своё ружьё, и с ужасом ожидая, что сейчас это чудовище простым сжиманием когтей проломит грудную клетку товарища, Волчара выстрелил из второго ствола. И опять попал только в тело, точнее, в шкуру.

Ему показалось, что в глазах медведицы сверкнула молния, когда она оглушительно зарычала и, отвернувшись от Дуплета, обратилась к Волчаре всем корпусом. Через секунду должны были последовать два – не более – её прыжка по направлению к нему и один-единственный удар огромной когтистой лапой, рассчитанный на перелом позвоночника.

Но здесь неожиданно повёл себя Шалаш. Вместо предполагаемого от него Волчарой двойного выстрела всё тою же бесполезной дробью в медведицу – выстрела, который даже не замедлил бы её прыжка, – он вдруг выстрелил в медвежонка, прятавшегося за сосной. Выстрел сбил щепу со ствола дерева и возымел эффект: детёныш испуганно заурчал своим срываю-

щимся рычаком и сиганул через заросли, по бурелому, по длинной дуге туда, где находился его брат или сестра, под ту самую ель, из-под которой он раньше столь опрометчиво выбежал. Это задержало приготовившуюся к смертельному броску мать, которая повернула голову к стрелку. А когда Шалаш вслед удиравшему медвежонку выстрелил из второго ствола и тот в ответ дико взвизгнул, она и вовсе отказалась от своего намерения и метнулась к ели, намереваясь, кажется, собственным телом загородить малышей.

В этот момент Волчара всей спиной ощущал, как с затылка на спину безостановочно льётся липкий и тёплый пот ужаса. Прислушиваясь к обильным струям пота, весь похолодевший и дрожавший крупной дрожью, он поэтому не сразу увидел, что под ноги ему летит какой-то длинный тёмный предмет. И лишь крик Дуплета вернул его к реальности:

– Лови-и-и! Стреля-я-яй! – страшным голосом орал Дуплет, заставив тем самым Волчару понять, что длинный предмет – это ружьё Дуплета, которое тот кинул ему здоровой рукою, будучи не в силах выстрелить сам.

Машинально присев на корточки, Волчара схватил это ружьё и так же, с корточек, направил дуло на медведицу. Она тем временем повернулась к ели и к своим детям задом и, снова оглушительно заревев, обратила красную пасть к людям. За её спиной продолжал жалобно кричать раненый детёныш, что лишь подстёгивало решимость матери расправиться с незваными гостями. Дёрнув головой на крик малыша, она рванулась вперёд – но раздался очередной выстрел Волчары, который успел в этот раз с корточек прицелиться ей в голову. Она чуть покачнулась и, не обращая внимания на ручеек крови, побежавший из пасти, одним прыжком преодолела половину разделявшего их расстояния. Тем временем Волчара, видя, что Шалаш что-то слишком долго возится с перезарядкой своего ружья, постарался прицелиться ей в глаз и выстрелил из последнего ствола, оставшись полностью безоружным. К несчастью, он не попал в глаз. И, вообще, четвёртый выстрел оказался напрасным: в критический момент меткость бывалого стрелка подвела его.

Дальнейшее произошло как в кошмарном сне. Она сделала гигантский прыжок в сторону Волчары, и он, падая и доставая нож, дико закричал и в крике видел, как над ним нависает её окровавленная пасть, видел её размыкаемые над его горлом клыки, видел, как нож словно не его рукой, а чьей-то чужой рукой направляется ей прямо в глотку, и ещё краем глаза видел словно бы чью-то третью и совсем постороннюю тень сбоку. Ожидая на своём горле смыкания её челюстей, приготовившись испытать последнюю в своей жизни острую боль, он даже почти был раздосадован присутствием этой посторонней тени, ибо воспринимал происходящее как что-то глубоко личное, своё собственное, как драму, касающуюся только его и убивающей его медведицы, без кого бы то ни было третьего.

Однако этот третий всё-таки вмешался, и задыхающийся от смрада из медвежьей пасти Волчара каким-то чудом разглядел, как к голове его убийцы плотно приставляется ружейное дуло, как это дуло пышет огнём. И спустя вечность раздался звук выстрела.

Нет, челюсти не сомкнулись на горле Волчары. Вместо этого медведица дико заревела и повернула свою разверстую и кровоточащую глотку к тому, кто выстрелил. Стоя над поверженным Волчарой, как ранее над Дуплетом, и имея такую же возможность убить его одним ударом, она опять не воспользовалась этой возможностью, а просто стояла и смотрела на человека, который только что убил её. Человеком этим был Шалаш.

Тем временем прямо на лицо Волчары с её головы упало что-то склизкое, влажное и скользнуло к его уху. Машинально повернув в ту сторону голову, он разглядел, что это был вытекший из медвежьей глазницы глаз, выбитый выстрелом. И здесь, вместе с затеплившеюся надеждою выжить, в голову пришла и другая мысль, совсем мелкая и незначительная на фоне первой, – мысль, что медведица, пожалуй, ранена серьёзно и, может быть, даже смертельно. Но он продолжал лежать не шевелясь, боясь привлечь к себе её внимание.

Видимо, она и сама почувствовала, что уже убита и что смерть стремительно к ней приближается. И последним её жизненным движением, последним зовом умирающей души стал инстинкт матери. Медленно повернувшись к своим медвежатам, она заковыляла обратно к ели, волоча за собою широкий густой след алой крови. Её лёгкие ещё исторгали тихое рычание, более инерционное, чем устрашающее, и каждый шаг давался всё с большим трудом. Тем не менее она доплелась до густых еловых ветвей и скрылась за ними.

Следом за нею пошёл последний из охотников, кто ещё стоял на ногах, был способен к каким-то действиям и понимал, что эти действия в сложившейся ситуации должны быть незамедлительны. Шалаш раздвинул ветви вслед за медведицей, находясь буквально в двух метрах позади неё, и увидел следующую картину. Близ корней ели дождями была вымыта яма, которую, по всей видимости, медведица увеличила искусственно, подкопав здесь же и выпарапав из земли огромный камень, который был оттиснут в сторону. Углубление, где раньше лежал камень, было значительно разрыто и расширено, и под корни ели уходил тёмный лаз берлоги, где заботливая мать предполагала переспать всю зиму со своими детёнышами. Сейчас из этого лаза виднелись ушастые головы медвежат, беспокойно барахтающихся, перелезающих друг через друга и порывающихся, причём у одного из них на шее явственно виднелись следы крови.

Мать из последних сил подползла к ним, навалилась на горловину пещеры своим боком, закрыв тем самым медвежат в этом отверстии, и беспомощно повернула к человеку свою некогда страшную голову, оскалив длинные жёлтые клыки с льющимися по ним струями крови. Она надёжно защитила своих малышей, и добраться до них теперь можно было лишь одним способом – оттащив её тело. Возможно, она надеялась, что достаточно быстро подползла к берлоге и успела закрыть телом детей, пока никто ещё не успел увидеть их укрытие, – кто знает?

Шалаш, однако, всё видел. Стоя в пяти шагах от умирающей матери, он поднял ружьё, не спеша и тщательно прицелился вторым стволом и... оборвал навсегда её последний мучительный вопрос. Теперь она лежала, когда-то грозная, но бездыханная ныне, отдав жизнь за детей без малейшего сомнения, закрыв их от опасности всем своим телом и, быть может, всё-таки надеясь перед смертью, что люди не найдут её сокровище.

А к Шалашу тем временем на дрожащих непослушных ногах подошёл Волчара, долго смотрел на труп медведя, достигавший двух с половиной метров в длину, и наконец спросил осипшим голосом, сухими и солёными губами:

– Это была дробь?

– Нет, – ответил Шалаш, – это была пуля.

Волчара недоумённо посмотрел на него:

– Зачем ты взял патроны с пулями?

– Я не говорил вам: со мной всегда были два патрона с пулями, на каждой охоте. Так, на всякий случай.

– Их ты и перезаряжал так долго?

Шалаш кивнул:

– Извини, брат, за задержку. Но эти два патрона ещё надо было отыскать, затем возня с перезарядкой.

Они замолчали и долго бы ещё, наверно, смотрели на труп поверженного врага, если бы стоны Дуплета не привлекли их внимание. Действительно, с его рукой надо было что-то делать. Волчара, всё ещё прихрамывая, подошёл к нему и присел на карточки:

– Ну, что тут у тебя?

– Эта тварь сломала мне руку! – изо всех сил сдерживая стоны и рыдания, пролепетал Дуплет. В глазах его стояли обильные слёзы, лицо было красным и обезображенным гримасой боли. При взгляде на его правую руку сомнений не оставалось: она было неестественно изогнута в районе предплечья, между локтем и кистью, и в месте перелома из-под разорван-

ной одежды выглядывали окровавленные осколки кости, словно чей-то хищный оскал. Тёмная кровь обильно сочилась из раны и впитывалась в хвойно-мшистый покров почвы.

Ещё час был потрачен на наложение шины, что сопровождалось громкими воплями и проклятиями пострадавшего. Бинт имелся в рюкзаке самого Дуплета. Стараясь минимально тревожить его руку, Волчара и Шалаш крепко прибинтовали её к самому телу раненого. Оставив его лежать прислонённым к стволу дерева, Волчара вернулся под ель, считая, что там ещё не всё закончено.

– Ну уж на этих-то щенят мы патроны тратить не станем, – сквозь зубы пробормотал Волчара, решительно подступая к трупку медведицы. – А ну-ка, помоги мне!

Ухватившись вдвоём с Шалашом за передние когтистые лапы медведицы, они принялись, пытая и чертыхаясь, оттащить её от входа в берлогу. Это оказалось не так просто, и после нескольких безуспешных попыток Шалаш, обойдя окрестности, принёс и стал употреблять в качестве рычага высохший ствол молодой ели, жёлтая сухая крона которой нещадно колола ему руки.

– Да в ней все полтонны, я думаю! – просипел он, обливаясь потом. – А, вообще, зачем нам нужны медвежата?

– То есть как это? – удивился Волчара, даже приостановив свои геракловы усилия. – Ты предлагаешь оставить их в живых?

– Мы убили медведя! – Снова и снова налегая на свой рычаг, Шалаш говорил хриплым, натужным голосом, прерываемым физическими усилиями. – Это пятьсот килограммов мяса... шкура... и память на всю жизнь... Зачем нам ещё и медвежата?

– Да затем, что мы с Дуплетом чуть не отправились на тот свет! – заревел Волчара, понемногу раздражаясь. – Затем, что их мамаша сломала ему руку и чуть не проломила грудную клетку! Затем, что она и мне едва не перегрызла горло. И я только чудом остался жив!

– Ну, не таким уж и чудом.

– Спасибо тебе, конечно! Я твой должник и век не забуду, но ты не станешь, надеюсь, мешать мне выпустить пар?

Выпрямившись и утирая со лба пот, Шалаш сухо сказал:

– Я охотник, а не детский палач. По мне, так надо отодвинуть её тушу только затем, чтобы освободить им выход.

Волчара замер и уставился на собеседника, выпучив глаза.

– Ну, вот это ты зря сказал, дорогой! – завопил он и, круто развернувшись, бросился на поляну к Дуплету. – Ты слышал? Наш с тобой спаситель выступает правозащитником зверушек и назвал меня палачом!

– Отстань от меня, ради Христа! – простонал Дуплет, отворачиваясь и пытаясь отмахнуться здоровой рукой. Его лицо было блее простыни, зубы сжаты до желваков, а в глазах стояли закипавшие слёзы. – Света белого не вижу!

Однако Волчара не хотел униматься и продолжал разобиженным, возмущённым тоном:

– У тебя здесь тоже есть право голоса! Рассуди нас! Как, по-твоему, следует поступить с детёнышами той твари, которая сломала тебе руку и чуть не убила? Оставим их жить или обезопасим эти леса для спокойной охоты, для сбора ягод и грибов женщинами, детьми, стариками?

Дуплет, почти ничего не соображавший как от сверлящей и назойливой боли, так и от водки, которую он отпивал из фляжки жадными глотками, надеясь на скорейшее ослабление болевых ощущений, был сейчас готов на что угодно, лишь бы поскорее тронуться в путь и добраться до медицинской помощи. Чуть не плача, он выругался и раздражённым, отчаянным голосом прокричал:

– Хватит вам спорить! У меня уже бинты промокли от крови!

Не успели утихнуть его истерические вопли, как послышалось глухое и надтреснутое урчание медвежат из берлоги, так как Шалаш энергичными движениями своего рычага наконец освободил вход в неё.

Между тем постепенно вечерело, и холодный осенний ветер, днём едва заметный, теперь усиливался и шумел кронами деревьев, зримо раскачивая тонкие и молодые стволы. Порывы ветра добирались уже и до земной поверхности. Следовало торопиться.

Не добившись от Дуплета толку и желая непременно претворить в жизнь своё намеренье, Волчара с развеваемыми ветром чёрными волосами медленно подошёл ко входу в берлогу и остановился, стараясь не смотреть в сторону Шалаша.

– Итак, – хмуро произнёс он, – обойдёмся без расточительства и выстрелов. Я управлюсь одним ножом.

Шалаш пожал плечами и отвернулся, затем пошёл искать и собирать в единое место рюкзаки и ружья. Волчара проводил его взглядом исподлобья, медленно вынул из поясного чехла длинный нож с узким лезвием, встал на колени перед тёмным лазом в берлогу и, кряхтя, полез в тёмное отверстие. Через некоторое время Шалаш и Дуплет услышали громкое щенячье рычание, вопли Волчары и пронзительный визг одного из медвежат.

– Вы слышали? Эта сволочь меня укусила! – донеслись из-под ели злобные выкрики Волчары, перемежаемые руганью.

Спустя пять минут те же звуки повторились, после чего Волчара в бешенстве выбежал на поляну и принялся быстро собирать хворост. Догадавшись, для какой цели это делалось, Шалаш поморщился. Дуплет, с лица которого обильно лился пот из-за переживаемого страдания, опять не удержался и плачущим голосом обратился к Волчаре:

– Да скорей же ты, чёрт тебя дери! Вот ведь деятель нашёлся на мою голову!

Но Волчара пошёл уже на принцип и готов был скорее отпустить спутников и остаться в лесу один, чем не довести дело до того конца, который считал логическим и единственно справедливым. Он насобирал огромную кучу павшей листвы, сухих шишек, веток и нырнул с этой ношей под ветви ели, к берлоге. Те несколько минут, которые были им потрачены на сбор хвороста, были последним шансом медвежат выбежать и спастись бегством. Однако, не подозревая о намереньях убийц своей матери, они не воспользовались этой возможностью и по-прежнему прятались в берлоге.

Вскоре Шалаш и Дуплет увидели густой белый дым, повалившийся из-под дерева, и услышали треск сгораемых сучьев. В молчании они провели десять минут, не говоря ни слова. Шалаш хмуро перешнуровывал ботинки, проверял ружья, затем достал для себя и Дуплета какой-то снеди из рюкзака. Оба принялись жевать, не глядя друг другу в глаза.

Наконец на поляне показался Волчара. Впрочем, взяв бутылку с водой, он тотчас скрылся обратно и, лишь залив костёр, вернулся к своим товарищам окончательно. При этом обеими руками он волочил по земле несчастных задохнувшихся в дыму медвежат. С видом умаявшегося победителя, Ахиллеса, отомстившего за Патрокла, сел он рядом с остальными и пожелал принять участие в трапезе. Все трое молча жевали ещё некоторое время, пока наконец Шалаш не взял слово:

– Ты хоть понимаешь, что медвежат никому и показать-то нельзя? Что скажут люди?!

Волчара подумал, помолчал некоторое время, затем пожал плечами и ответил просто:

– Нельзя так нельзя! Значит, не возьмём их с собой – вот и всё!

Желая прекратить ссору и продемонстрировать лёгкость и сговорчивость, он немедленно отшвырнул от себя трупы медвежат с таким видом, словно это были две наскучившие, неуместные и кем-то навязанные ему вещи.

Встал вопрос, что делать с убитой медведицей. После короткого обсуждения порешили на том, что свежевание и потрошение следует отложить ввиду длительности обоих процессов, что было бы, во-первых, несносно для страдающего болью Дуплета, а во-вторых, и бес-

смысленно, ибо одна только сырая шкура потянет на десятки килограммов. Нести такой вес можно было только втроём, однако Дуплет на роль носильщика в силу своего состояния явно не годился, а Шалаш решительно заявил, что и без медвежьей шкуры им вдвоём придётся нести немалую ношу, так как очевидно было, что поклажу Дуплета придётся поделить между собой.

– В таком случае, – подвёл итог Волчара, – закидаем тушу хворостом и будем надеяться, что она не воссмердеет до нашего возвращения. По пути будем делать заметы на деревьях. Мало ли – может, завтра-послезавтра удастся уже и вернуться сюда. От жителей ближайшей деревни узнаем насчёт подъездных дорог к этой части леса.

Никто возражать не стал, и Волчара, оттащив к труп матери её мёртвых детёнышей, усердно и долго закидывал это захоронение ветвями и хвоей. В конце концов получился огромный бесформенный холм из валежника, видимый издалека.

После того как вещи были распределены между Волчарой и Шалашом поровну, а бледный, страдающий Дуплет, с крупными каплями пота и гримасой на лице, был налегке поставлен в середину колонны, все трое наконец тронулись в путь, когда день уже явственно проигрывал схватку с ночью и на вершины деревьев властно опускались огненные пальцы вечерней зари. Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, и его огромный ярко-оранжевый полудиск просвечивал сквозь чёрные и влажные стволы деревьев. Чем меньше красок оставалось в лесу с заходом солнца, тем всё более входила в свои права одна-единственная краска – чёрная шаль ночи. Вкрадчивое удлинение теней, их неотвратимое слияние друг с другом и всё более быстрое погружение леса в сумрак сопровождалось усилением прохлады и общего мрачного, безрадостного настроения, словно осознанно ниспускаемого кем-то свыше. Как ни странно, но у людей, вышедших победителями из схватки со смертельно опасным лесным зверем, состояние души было вовсе не победительным. Казалось, что конец охоты, испорченный и скомканный страшною встречей, грозил в дальнейшем ещё каким-то другим, новым и непредвиденным, ещё более злоеющим испытанием.

Они шли гуськом, но уже не по тропе, а по просеке в лесу, на которую вывел их Волчара, лучше всех разбиравшийся в лесных приметах и умевший ориентироваться на местности. Он и шёл первым в цепи, иногда делая зарубки на деревьях на память. Следом за ним старался не отстать постанывавший и кусавший губы Дуплет: боль продолжала терзать его неотступно. Щуплый Шалаш, тяжело дыша и пригибаясь под тяжестью рюкзаков и ружей, шагал последним. Они двигались молча, и, когда ночь легла на лес окончательно, испещрив небо мириадами звёзд и соединив в единую мрачно-чёрную материю всё окружающее пространство, так что граница между острыми вершинами елей и звёздным пологом неба перестала быть различной, когда свирепевший ветер начал уже ощутимо пробирать до костей холодом и перед путниками вставала уже во всей серьёзности неприятная перспектива разбивать лагерь и ночевать опять в лесу, на холодной земле, впереди раздался наконец торжествующий возглас Волчары. Он увидел свет в окне самого крайнего дома посёлка, стоявшего, пожалуй, ближе к лесу, чем к остальным человеческим строениям.

И путникам, обрадованно ускорившим шаг, вдруг ударил в нос отвратительный, сырой, гнилостный запах старого болота, запах, в котором к застоявшемуся духу жирной тины, гниющих водорослей и перепревшего мха примешивались, казалось, и сладковатые миазмы разлагающихся трупов.

## Глава 4

Калитка была не заперта. Мужчины вошли во двор и в нерешительности остановились, увидев солидных размеров собачью конуру.

Двор представлял собою неправильный четырёхугольник, ограниченный с одной стороны стеной дома, за которым возвышались исполинские ели густого и мрачного леса, напоминавшего гиблый лес из русской сказки. Правее дома располагался небольшой огород, давно заброшенный и поросший лопухом и крапивой. С противоположной стороны от дома вдоль дороги возвышался невысокий забор с калиткою, через которую вошли гости, а правее калитки стоял не то сарай, не то времянка из старого потемневшего от времени тёса с одним-единственным кривеньким оконцем, наполовину застеклённым, а наполовину забитым фанерой. Слева была самая узкая часть двора, где стояла только большая конура, позади неё – огромный тополь, в нижней половине лишённый ветвей полностью, а в верхней, вследствие раздвоения на две могучие ветви, покрывавший своею густою сенью почти половину дворовой территории. С одной стороны от будки совсем близко располагалась калитка, а с другой стороны – угол дома с крыльцом. Наконец, напротив конуры, справа от калитки, после огорода и времянки виднелся опять забор, защищавший двор всё от того же леса, нависавшего и там и норотившего, казалось, смести забор и заполнить внутреннее пространство двора своими колючими старыми ветвями, длинными, как руки душителя.

Путники всё ещё топтались возле калитки, настороженно косясь на внушительное собачье жилище и не решаясь идти дальше. Однако ни лая, ни рычания из конуры не последовало, а так как собака в ней определённо обитала, что угадывалось по редкому лязгу цепи, шорохам и тяжким вздохам в будке, то охотники справедливо решили, что пёс очень добрый и не приучен к несению сторожевого долга. Они осторожно, с опаской друг за другом прошли мимо пса, подошли к крыльцу, и Волчара, поднявшись, негромко постучал.

Луна светила ему в спину неполным, но ярким серпом, побеждавшим сияние звёзд, и в её свете отчётливо была видна старая тяжёлая дверь с облупившиеся местами краской, за которой не угадывалось ни звука. Однако свет в окне горел, и стоявшему последним Шалашу почудилось даже, будто в другом, тёмном окне кто-то осторожно приблизился к занавеске, отчего она шелохнулась, а затем, приплюснув к ней лицо вплотную, напряжённо вглядывался во двор. Волчара уже поднял руку постучать вторично, но Шалаш сделал ему знак не делать этого. Повинуясь безотчётному порыву, он подошёл на цыпочках к тёмному окну и приложил лоб к стеклу, столь же напряжённым взором пытаясь угадать фигуру, которая там пряталась. Он не был уверен, что на него тоже смотрят, и скорее представил себе, чем увидел тощую, с большой головой, медленно отошедшую от занавески тень, похожую на привидение. Отчего-то мурашки быстрой сыпью прошли по его затылку и спине, и он передёрнулся.

В этот момент издали в лесу заухала сова – и вдруг внезапно замолчала, словно остановленная кем-то насильно.

Наконец Волчара всё же решился постучать вторично и, намереваясь произвести ряд постукиваний костяшками пальцев по двери, успел нанести лишь один негромкий удар, после чего пальцы его провалились в пустоту, ибо дверь неспешно и без скрипа отворялась, словно влекомая потусторонней силой. Волчара застыл с поднятой рукою, наблюдая, как дверь медленно, слишком даже медленно открывается, и удивляясь, что за нею не показывается фигура человека. Вот дверь уже полностью распахнулась, но в чёрном проёме было по-прежнему пусто. словно замороженные, они смотрели в этот проём, испытывая невесть откуда взявшееся желание развернуться и бежать от этого дома куда угодно, хоть бы и обратно в тот же тёмный и холодный лес, налитанный болотными испарениями.

– Да чёрт, что же это. – не выдержал Дуплет, теряя терпение сопрягать всю эту чертовщину со своей болью.

Мрак, находившийся за дверью, вдруг начал зримо сгущаться, и вперёд медленно стал выдвигаться какой-то неясный короб, проступая из тьмы так неспешно и неотвратно, как тревожит нас смутный ужас в сновидениях. Он словно катился на рельсах, перемещаясь очень плавно, и мужчины были готовы увидеть что угодно, хоть выкатываемый на колёсиках шкаф, но только не выплывшую из темноты большую бледную голову лобастой женщины, смотревшей на них исподлобья странно горящими глазами. Затем выдвинулась и вся худосочная фигура в длинной кофте и юбке, ранее казавшаяся им бесформенным коробом.

Она молча осмотрела их с ног до головы и тихим, бесстрастным голосом произнесла:

– На ночлег?

– Да... если можно, – не сразу ответил за всех Волчара и с трудом сглотнул внезапно пересохшим горлом.

– Проходите, не разуваясь! – бросила хозяйка и, развернувшись, первой направилась в сени. Следом за ней вошли и мужчины.

Комната, представшая их глазам, была грязной и убого обставленной. Старый продавленный диван перед грубым квадратным столом с толстыми ножками, вокруг стола – несколько жёстких деревянных стульев, комод, покосившийся сервант и небольшой пожелтевший от старости холодильник, за которым угол комнаты был отгорожен наискось занавескою, – вот и всё убранство, освещаемое люстрой с одной-единственной скудно горевшей лампочкой. Возле другого угла виднелась закрытая дверь в другую комнату. Никого живого, кроме хозяйки, в доме не было ни видно, ни слышно.

Пока Шалаш размещал в комнате оружие и рюкзаки и выкладывал на стол всё необходимое для ужина, Волчара стал расспрашивать женщину о том, как позвониться до ближайшей больницы и поскорее госпитализировать Дуплета, вкратце объяснив, что было столкновение с медведем. Затем он удалился звонить в больницу, перед выходом значительно переглянувшись с друзьями (из чего они поняли, что водку он купит), а хозяйка, не показавшая никакой эмоции при вести о медведе и при виде кровавой повязки на руке Дуплета, предложила свои услуги по приготовлению пищи.

– Чай, вам горячее нужно? – спросила она, подойдя сзади к Шалашу так внезапно, что тот вздрогнул. Дуплет, сидевший на диване, не удержался от вымученной улыбки. Заметив реакцию Шалаша, она тоже раздвинула рот в улыбке, которая вышла у неё не слишком привлекательной: бескровные губы образовали плоскую тёмную щель, за которой совершенно не было видно зубов, и казалось, что их там нет ни единого.

– У нас своя дичь и свои продукты, – принялся объяснять Шалаш, пока она расставляла на столе посуду, извлекаемую из серванта, – так что от вас почти ничего и не нужно. Разве что немного хлеба. Я достану вам утиные тушки. Они уже обжарены и выпотрошены. Вы их, пожалуйста, приготовьте как-нибудь – например, потушите. У нас есть и консервы, и соль, и посуда.

– Ладно, неси это всё ко мне на кухню! – Хозяйка направилась к входной двери, сделав Шалашу приглашающий жест следовать за собою. – Кухня у меня через сени. Сейчас зажгу там свет, и найдёшь, не ошибёшься. А это что у тебя? Копчёности сразу на стол выкладывай. Небось, ножи-то есть?

– Обижаете!

– Ну то-то же.

И она скрылась за дверью. Шалаш и Дуплет переглянулись и прислушались. Хозяйка ступала бесшумно, поэтому звуки шагов им услышать не удалось, и только раздавшийся перезвон открываемых крышек и вынимаемых откуда-то кастрюль и другой утвари показали, что она уже орудует на кухне.



Шалаш принялся возиться с рюкзаками, доставая из них различную снедь. Понахватавши и еле удерживая в руках продукты, он подошёл к двери и столкнулся с входившим Волчарой.

– Ну что? – нетерпеливо спросил Дуплет.

– Купил! – кивнул Волчара.

– Да я не про это, чёрт тебя дери!

– Теперь о тебе. Бригада сможет приехать только утром. До райцентра сто семьдесят километров, больница только там. А машина в больнице хотя и есть, но водитель сейчас то ли в отпуске, то ли в запое – я так и не понял толком. По-моему, там и дежурный подшофе, судя по его ответам, – Волчара уселся за стол, достал свой гигантский нож и принялся нарезать копчёную грудинку. – Короче, дорогой, придётся тебе потерпеть до утра!

– Чёрт бы побрал эту глухомань! – не сдержался Дуплет, в то время как Шалаш вышел из комнаты и направился на кухню.

Волчара выдержал паузу и спросил, деловито управляясь с ножом:

– Ну как вы тут с этой... с мадамой?

– Да невесёлая тётка, честно говоря, – усмехнулся Дуплет. – Взгляд у неё какой-то тяжёлый и... неприятный, что ли.

– Ничего, не бойсь, это всё временно!

Волчара, судя по всему, был вполне беззаботен и чувствовал себя победителем. Он предвкушал вкусное и долгое застолье и был даже доволен, что Дуплет остаётся на ночь, так как сидеть за столом втроём с мрачноватой хозяйкой и с Шалашом, обида на которого ещё не улеглась, ему не слишком хотелось.

– Сейчас вот выпьем, и сразу в другом свете всё покажется, – бодро продолжал Волчара. – И боль чувствовать будешь меньше, и хозяйшкa покажется симпатяшкой!

– Да ну тебя к чёрту! Всему есть предел, и я не всеяден! Ей, пожалуй, все пятьдесят!

– Как рука-то?

– Болит! Как же ещё.

– А наш герой пошёл с нею ужин готовить? Небось, оба уже в фартучках, нарукавничках? – не удержавшись, он расхохотался собственной шутке.

– Она одна будет готовить. Шалаш сейчас вернётся.

– Понятно. – Волчара огляделся по сторонам. – А что, вы не спрашивали, есть ли ещё кто-нибудь дома? Муж, например.

– Вряд ли, – Дуплет криво усмехнулся и невесело огляделся кругом. – Ты только посмотри на ножки этого серванта, ровесника хозяйки. По всему видно, что нет мужика в этом доме.

– Ну да, ну да, возможно, – закивал головой Волчара, закидывая в рот пару кусочков. – А скатёрку-то давно постирать пора. Я бы сказал, что она сильно пьющая. Как думаешь?

– Я даже уверен в этом, – отозвался Дуплет.

– А раз так, то не исключён и муж-пьяница!

– Что, хочешь многолюдного застолья с гармошкой? – Дуплет хохотнул и подумал, что за беседой, пожалуй, боль ощущается меньше. – Может, ты и прав. Если муж всё-таки есть, то вполне может нарисоваться попозже. Представляешь, каково быть на его месте? С такой-то женой-раскрасавицей.

– Б-р-р! Не пугай на ночь глядя страшными сказками!

Волчара передёрнулся, оба расхохотались, и в эту минуту вернулся Шалаш.

– Против кого смеёмся? – спросил он, подсаживаясь к столу и хмуро оглядываясь.

– Против тебя, – отозвался Дуплет. – Выпить нам слишком долго не даёшь. Давай уж наливай, что ли.

Они начали пить и закусывать. Опрокинувши в себя первую рюмку, Волчара невзначай поглядел в сторону, и взгляд его упал на занавеску, закрывавшую угол рядом с холодильником.

Ему показалось, что занавеска чуть шелохнулась. Не уверенный в этом, он не стал вставать и проверять смутное впечатление.

– Один знакомый... нет, вы его не знаете... так этот знакомый мне рассказывал, – начал Волчара, – что есть в этих лесах деревенька, где вот так же, на отшибе, стоит домишко с одной ну оч-ч-чень интересной дамочкой, – он ухмыльнулся и продолжал с хитрым прищуром заправского сплетника: – Она вдовица и живёт с какой-то придурковатой дочкой в доме возле болота. Мы ведь, когда подходили к дому, слышали гадкий сырой запах, как будто от мертвяков, помните? Так вот, бабу эту наш брат охотник называет между собой Лярвой, так как от неё можно мно-о-огого добиться за ничто, за ломаный грош, за пузырь водочки!

Шалаш и Дуплет переглянулись.

– погоди-погоди, – нахмурился Дуплет и понизил голос. – Ты что же хочешь сказать? Ну да, был болотный запах, но.

– Но у неё нет дочери! – вставил Шалаш не слишком уверенно.

Волчара многозначительно посмотрел на него и красноречиво перевёл взгляд на дверь в другую комнату:

– Кто-нибудь из вас туда заглядывал?

– Нет.

Все помолчали. По очереди накалывали вилками куски копчёного мяса, отправляли их в рот и сосредоточенно пережёвывали, утоляя острое и безотлагательное чувство голода.

– Вдовица, говоришь. – прошамкал Шалаш, с усилием работая челюстями.

– Ну ты даёшь, однако! – Дуплет покачал головой. – Сам же здесь только что почти декламировал. Трепались тут с тобой, не снижая голоса, и гоготали, и о хозяйке прохаживались. А у неё, оказывается, где-то в доме есть дочка! Мог бы и раньше сказать.

– А сколько лет дочери? – поинтересовался Шалаш.

– Вот в том-то и дело, что немного! – Волчара с восторгом переводил взгляд с одного на другого. – Девчонке лет десять, не больше. И эта Лярва вовсе не такая старуха, как кажется. Так что держайте, други! – он опять разлил по рюмкам водку и подмигнул Дуплету: – Тебя-то нам как, списывать со счетов аль нет?

– Да уж сегодня мне за вами не угнаться! – хохотнул Дуплет и тут же поморщился от боли. Однако попытался продолжать беседу в весёлом ключе: – Разве что на русскую жалость давить, на сердоболье: так, мол, и так, пострадал за правду, за дружбу! Вышел один и без оружия против лютого зверя и.

– А чего ж ты, горе-охотник, оказался без оружия-то?

Посыпались смешки и шуточки, сопровождаемые новыми рюмочками и новой азартной работой вилок и челюстей.

– Ей что же, меньше пятидесяти? – Шалаш недоверчиво и отрицательно качал головою, с усилием проглатывая очередной кусок.

– Гораздо, что ты! Ей и сорока нет! – Волчара широко улыбнулся. – Так что определяйся поскорее! Если поворишь нос, то я не такой брезгливый!

– Уступаю без раздумий! – отмахнулся Шалаш.

– Ох, смотри, пожалеешь!

– Ладно вам! Давайте уже. – подытожил Дуплет, и они снова выпили.

И здесь Волчара, сидевший за столом на таком месте, с которого всего удобнее просматривался угол и ограждавшая его занавеска, уже несомненно увидел чьё-то движение за нею. Кто-то быстро шевельнулся там и замер, как будто испугавшись, что может быть рассекречен.

Изменившись в лице, Волчара призвал всех к молчанию, встал и крадучись подошёл к занавеске. И в тот момент, когда он её отдёргнул, со стороны входной двери раздался глуховатый голос хозяйки:

– Девка моя там. Пусть сидит, это её место. Она вам не помеха.

Все трое изумлённо уставились в угол, где на табурете сидела худенькая девятилетняя девочка с очень большими испуганно моргавшими глазками, совсем некрасивым скуластеньким личиком, коротко остриженными русыми волосёнками и с бледною, тонкою и какою-то болезненно синюшною кожей, сквозь которую очень отчётливо и рельефно проступали вены – по всему телу, даже под глазами.

Увидев себя открытой, да ещё предметом всеобщего рассмотрения, девочка кинулась было к двери, ведущей в другую комнату, но мать грубо шикнула на неё, обозвав «сучкой», – и «сучка» безропотно воротилась на прежнее место. Растерявшийся Волчара также вернулся за стол, и все гости теперь хранили настороженное, удивлённое безмолвие.

Первым подал голос Дуплет, откашлявшись, и весьма нерешительно:

– Э-э-э, хозяйшка, драгоценная вы наша! Может, девочке всё же стоит в другой комнате побыть покамест? Только этот вечерочек, пока мы тут будем, что называется, души распоясывать.

– Ей-богу, иной раз у нас самих от наших же речей уши в трубочку! – поддержал его Волчара, энергично кивая.

– Я сказала: девка вам не помеха! – И женщина опять задёрнула занавеску, скрыв девочку от любопытных глаз. – Она живёт здесь и спит здесь, на этом диване. А вот вы потом пойдёте спать в спальню.

– Но, может быть, хотя бы пока. – начал было Волчара.

– Всё, тема закрыта! – отрезала хозяйка, садясь со всеми к столу и придвигая к себе пустую тарелку. – Тушится ваша утка, скоро подам. А ты что же, мил человек, не все рюмки видишь? – И она подвинула Волчаре свою рюмку, после чего он быстренько и с чувством исполнения приказа налил водку всем, включая хозяйку.

Нет нужды подробно останавливаться на темах, обсуждаемых за столом: разговор был более крикливым, чем содержательным. Если поначалу гости держались скованно и не могли сразу выбросить из головы пятого слушателя, находившегося за шторкой, то далее, с течением времени и с возрастанием опьянения, голос рассудка становился всё менее различимым.

Беседу начал Волчара. В его подробном, даже художественном рассказе о встрече в лесу с медвежьим семейством чем дальше, тем больше возвышалась роль самого рассказчика и измельчалось решающее участие Шалаша. Последний, впрочем, был верен себе, помалкивал и даже кивал, равнодушно взирая на присвоение другим собственной мужественности. Видимо, он давно уже свылся с характером своего товарища, имевшего в этот вечер к тому же явственные цели заигрыванья и набора очков в глазах хозяйки. Что касается Дуплета, то опьянение действительно благотворно сказалось на его страданиях: он всё более забывал о своей боли и часто вступал в общий разговор с шутками, анекдотами и охотничьими байками. В ходе застолья хозяйка неоднократно отлучалась на кухню, дополняла стол закусками и приносила всё новые бутылки с водкой. Её уходы и приходы сопровождались всё более плотоядными взглядами Волчары в её сторону, вызывавшими хитрые усмешки Дуплета. О самой женщине надо сказать, что она, с её мрачною и немногословною натурой, принимала участие в беседе ровно настолько же, как и Шалаш, то есть ограничивалась киванием, поддакиванием и редкими одобрительными возгласами или междометиями, когда они уже совершенно необходимо требовались ходом беседы. Девочка всё это время находилась в своём укрытии безотлучно.

По прошествии трёх часов после начала застолья, в середине ночи, когда языки и головы собравшихся были уже основательно отяжелевшими, Шалаш, последнее время часто клевавший носом, наконец первым встал и ушёл спать в соседнюю комнату, где располагались кровать и диван и где как раз могли улечься три человека. Этот уход одного из участников ужина остался незамеченным решительно всеми. Хозяйка в это время внимала очередной громогласной басне Волчары, а раскрасневшийся Дуплет, уже лишённый умения управлять членораздельною речью, только подхихикивал и качал из стороны в сторону головою с дико блестев-

шими белками полузакрытых глаз. Его выключение из активной жизни было уже вопросом недолгого времени, и когда спустя полчаса это произошло, то Волчара, еле держась на ногах, всё-таки встал, закинул на себя здоровую руку Дуплета и кое-как препроводил его в спальню, после чего вернулся сам за стол к хозяйке. Они остались вдвоём, без свидетелей, за исключением лишь одного маленького и тщедушного свидетеля, о котором все гости уже успели позабыть, а мать забыла ещё прежде, чем гости.

В этот момент девочка, то ли вспомнив о чём-то, то ли даже и по привычке, покраснела лицом и заткнула руками уши, ибо достаточно уже знала свою мать. Поэтому она не слышала слов и не получила понятия о пикантной торговле, начатой вскоре за столом между мужчиной и женщиной, – торговле, сопровождавшейся иканием, падением головы на стол, поднятием головы, слипанием глаз, открыванием глаз, заплетанием языка, мычанием и прочее.

Если опустить самую затейливую и многоэтажную ругань, придававшую этой торговле многословие и вид какой-то бессмысленной агрессии в адрес друг друга, то суть и смысл препирательств сводились к следующим фразам:

- Давай! Я тебе денег дам, – говорил Волчара.
- Отстань. А сколько дашь? – отвечала хозяйка.
- Ну, на пузырь дам!
- Нет, на пузырь мало!
- Хорошо, дам на два! Иди сюда!
- И на два мало!
- Тогда дам на три, и будь ты проклята!

После этих слов, бывших последними свидетельствами того, что в комнате находятся ещё разумные существа, всякая способность мыслить и человекоподобный облик были утеряны и заменились сценой, которая была столь же далека от изысканности чувств и утончённости высоких человеческих отношений, как русский надворный туалет далёк от буколической поэзии. Не найдя в своём словарном запасе достаточно ярких эпитетов для адекватного описания этой сцены, описания удобочитаемого и неоскорбительного для читателя, мы умолкаем, вознося напоследок хвалу несчастному ребёнку за догадливость и своевременность «глухоты», – ибо сцена была отнюдь не бесшумной.

До утра девочка так и не выбралась из своего укрытия и предпочла выспаться прямо там, в углу, свернувшись на полу возле табурета калачиком.

## Глава 5

Наутро за Дуплетом приехали и увезли его в районную больницу. Когда Волчара помогал ему взбираться в салон приехавшей из райцентра машины, то между прочим произнёс такую фразу, поворотившись в сторону хозяйки:

– Слышь, ты бы хоть перевязала его поутру, что ли! Повязка-то аж камнем взялась от крови!

– Ничего, там перевяжут, – отозвалась она спокойно и безразлично. – Я не нанималась!

Бледного, трясущегося от страха и боли Дуплета увезли, а Волчара принялся расспрашивать Лярву, как и по какой дороге ему с приятелем следует поехать, чтобы добраться до собственных автомобилей и до спрятанного в лесу трофея, а также кто из деревенских мог бы отвезти их. Впрочем, по части ориентации на местности и знания окрестностей она оказалась на редкость бестолковой и косноязычной, и Волчара, добившись от неё того только, что «сосед всё знает и довезёт, коли нальёшь», отправился беседовать с соседом, бормоча себе под нос ругательства в адрес «проклятой старухи».

Тем временем Шалаш, умывшись, уселся завтракать. Лярва не составила ему компанию и ушла зачем-то во времянку. Оставшись один, он некоторое время молча жевал, сидя за грязным неубранным столом, пока не услышал вдруг тихий шорох за шторкой. Это заставило его вспомнить о девочке и резко повернуться в её сторону.

– Эй! – позвал он несмело и невольно косясь на дверь. – Слышишь, малая! Тебя как звать-то?

В ответ – молчание. Он встал, подошёл к занавеске и отодвинул её: девочка сидела на табурете с зажмуренными глазами. Она не шелохнулась и явно была ни жива ни мертва от страха.

– Да ты чего такая дикая-то? – Шалаш присел на корточки. – Давай завтракать, пойдём за стол!

Ребёнок открыл глаза и удивлённо воззрился на приглашавшего. Принимать пищу за столом её не звала даже родная мать, предпочитавшая забывать об этом и обрекать дочь на воровство различных корок и объедков когда со стола, когда с пола, а когда и из мусорного ведра.

– М-м... – промычала девочка и, с трудом разлепив ссохшиеся губы, вдруг добавила с каким-то чудным, распевным выговором: – Нельзя мне!

– Да почему нельзя-то?

– Мамка накажет!

– Не накажет, пока мы здесь. Да и нет её в доме. Идём скорее!

Девочка нерешительно покосилась голодными глазами на дымящийся сотейник, подогретый утром её матерью и стоявший теперь на столе, от которого доносился головокружительный аромат тушёного с картофелем мяса. Было видно и понятно, что ей очень хочется подойти к нему, но. Словно приросшая к своему табурету, она так и не двинулась с места, войдя в ступор от противоборства страха и голода. Шалаш попытался было мягко взять её за руку, чтобы довести до стола, но она поспешно выдернула из его ладони свою крошечную бледную ручку. Не зная, как уговорить её, он вернулся к столу, наложил в тарелку кушанье и принёс его девочке. Видя, что она не хочет брать, он положил ей на колени грязную и жирную тряпку, называемую в этом доме «полотенцем», для защиты колен от горячего, а сверху тряпки поставил тарелку. Затем, покачав головою, вернулся за стол.

Он снова приступил с аппетитом поглощать пищу и краем глаза с удовлетворением отметил, что и девочка, не удержавшись, также начала с жадностью и быстро есть, зачерпывая то ложкой, то голыми пальцами и часто испуганно косясь на входную дверь. То, чего она боялась,

не замедлило воспоследовать. Во дворе негромко хлопнула дверь времянки, и оба находившихся в комнате поняли, что хозяйка сию минуту вернётся в дом. Шалаш мгновенно вспомнил, что ходит она неслышно. Он оглянулся на девочку и увидел в её устремлённых на дверь глазах столь явственный страх, граничивший с ужасом, что, повинуясь спонтанному порыву, быстро встал и задёрнул перед её носом занавеску, чтобы таким образом спрятать её от глаз страшной матери.

Дверь тихо отворилась – Шалаш вдруг подумал, что в этом доме все двери отворяются тихо и зловеще, – Лярва заглянула в комнату, кивнула ему, даже не посмотрела на занавеску и удалилась в кухню. И после этого, продолжив завтрак, Шалаш как ни прислушивался, но так и не мог расслышать в углу ни малейшего звука. Девочка либо ела очень тихо, либо сидела, боясь пошевелиться. Ему очень хотелось, чтобы она всё же ела, но встать и убедиться в этом не хватало духу. Ему мерещилось, что чуть лишь он подойдёт к занавеске, как в комнату ворвётся свирепая хозяйка, увидит свою дочь с тарелкой на коленях и тогда. А что тогда? Он не знал этого, но при такой мысли ему стало почему-то не по себе, и он не решился подвергать ребёнка опасному риску.

За этими мыслями его и застал вернувшийся Волчара.

– Всё устроено! – возбуждённо заявил он, усаживаясь за стол и накладывая себе огромную порцию. – Едем через полчаса. У неё здесь мировой сосед – мужик лет пятидесяти. С похмелья, правда, но вести свой драндулет сможет. Он примерно понял, как доехать до наших машин. Довезёт с ветерком!

– А как же Дуплет? Точней, его машина.

– Ты за кого меня держишь? Всё продумано и предусмотрено! С нами поедет соседский сынок, малый лет восемнадцати. Ох и детина, я тебе скажу, покрупнее вчерашней медведицы! Он и поедет на машине Дуплета. Все четвером сначала рванём к туше нашей милой знакомой. Не знаю, как насчёт мяса, но шкуру-то уж мы заберём во всяком случае! И с когтями, с когтями обязательно! Ты что, такая память! И ещё голову, голову не забыть!

Через полчаса к калитке подъехала старая, давно не мытая «Нива», вся облепленная комьями грязи. За рулём сидел щуплый рыжеватый мужичонка с хитрыми глазами, красным лицом и ужасающим спиртным дыханием. Рядом с ним восседал упирившийся головой в потолок плечистый парень, нисколько не похожий на отца и смотревший из окна скучливым, равнодушным взглядом с таким видом, словно все тайны бытия были им давно и благополучно разгаданы и поэтому всё, что ни происходит в его жизни, происходит именно так, как он предвидел.

Крикнув Лярве, что до вечера они вернутся, Волчара с Шалашом полезли в салон, для чего быкообразному детине пришлось временно выйти из двухдверной машины. Тем временем водитель приветственно взмахнул рукою и крикнул писклявым голосом, обращаясь к хозяйке:

– Приветствую тебя, Карловна! Ну как она, вдовья доля?

Стоявшая на крыльце Лярва не удосужилась возвысить голос, буркнула что-то себе под нос и, махнув рукою не то в знак приветствия, не то просто отмахиваясь, вернулась в дом.

«Нива» тронулась с места и покатила по колдобинам лесной грунтовой дороги, время от времени подпрыгивая на выступавших из земли толстых и узловатых корнях, змеившихся в разные стороны. Видно было, что хотя дорогу и пытались отсыпать каким-то красноватым щебнем, однако преуспели в этом мало, и она более годилась для пешего хода, чем для автомобильного. Довершали качество пути две образовавшие его колеи, разделённые полоской высохшей травы и в иных местах настолько глубокие, что напоминали там скорее могилы, чем участки дороги. Машине приходилось, надсадно урча, сворачивать и объезжать эти выбоины по бездорожью.

Если здоровенный детина помалкивал и позёвывал, отвернувшись к окошку, то водитель оказался весьма словоохотлив и с удовольствием отвечал на вопросы пассажиров, принуждаемых кочками и ямами дороги к беспрестанному иканию и чертыханию.

– Петровичем меня зовите! – весело гутарил он, то и дело поворачивая назад голову и явно радуясь выпавшей возможности найти слушателей. – А сына – Фёдором. А медведя в наших лесах, я вам скажу, не так-то просто встретить. Редко, очень редко случается. Пожалуй, лет пять уже ни одной встречи не было! Верно ведь, Фёдор?

Он и дальше, в течение всего дня, чуть не каждое своё высказывание сопровождал обращением к сыну за подтверждением, на что тот неизменно и молча кивал с важным, надутым видом.

– Ты хозяйку нашу Карловной назвал? – осведомился Волчара. – И как же зовут эту лярвищу?

– Евангелиной её зовут, по отчеству – Карловной! – отозвался Петрович, а когда Волчара присвистнул, то ухмыльнулся и продолжил: – Что, имечко больно затейливое? Да ведь по имени-то её и не звали никогда – всегда Карловна да Карловна. Я думаю, что я один на всю деревню и остался, кто ещё помнит её имя. Она и сама-то, небось, запомнявала, как её нарекли родители, так как давно уже пропила и память, и разум, и мужа, и самую жизнь свою пропила. Как начали с покойным мужем пить, с самой свадьбы, так и понеслось.

– Ну, это уж ты лишнего хватил. Кто ж своего имени не помнит?

– А ты думаешь, что она помнит имя своей девчущки? – Петрович круто вывернул перед ямой, и некоторое время всех так подбрасывало из стороны в сторону, что вести разговор не было никакой возможности. – Я говорю, ты знаешь, что она имя собственной дочурки не помнит? – наконец продолжил водитель, поглядывая в зеркало заднего обзора. – Да, да, вижу, как глаза выпучил. Не помнит, вот тебе крест, не помнит! Я ведь ещё при муже её, при Митьке, всё допытывался: скажи да скажи, как звать девку! Нет, да и только! Молчит и только моргает, моргает и молчит. А что ты Лярвой её назвал, то не от одного тебя я это уже слышал! – Он обернулся и хитро подмигнул Волчаре. – Что, покатила баба по наклонной, совсем допила, а?

Волчара грязно выругался, после чего оба расхохотались тем самым смехом, каким только мужчины между собою могут смеяться над женщинами.

Петрович, кажется, был из тех людей, которые вовсе не нуждаются в собеседниках и вполне довольствуются монологом. Пьяный язык его уже развязался, и он не дал Волчаре ответить, снова завладев инициативой в беседе:

– Я вот думаю, и давно уже так думаю, что она того, Карловна-то, уже и не в себе маленько! Давно, давно это подозреваю! Ещё когда муж её, Митька, живой был и мы, бывало, рыбачили вместе, я всё спрашивал: «Слышь, а чего она у тебя такая злющая? Раньше ведь не была такой? Не была. Чем же ты её, – говорю, – злишь-то так, и чем дальше, тем больше?» Он только отмахивался, не любил жену обсуждать, стеснительный был малость. Только вот, ей-богу, воистину как-то мрачнела она с годами, всё злее и злей становилась. Оно и чёрт её разберёт, почему так? От жизни ли бедной, от беспросветности ли нашей деревенской – кто его знает? Ведь иной раз и впрямь волком выть хочется – жизнь-то собачья! Но чудилось мне иногда, будто сам чёрт поймал её в свою болотную тину – вот прямо как в то гадкое болото рядом с её домом, – поймал и всё глубже и глубже в эту хлябь затягивает. Почему – бог весть. А может быть, и так, что и впрямь само болото на её голову действует своими испарениями, духом своим нечистым. Оно ведь жуткое, болото-то, видели же его сами! На него и взглянуть-то боязно – так и ждёшь, что мертвяк вынырнет. А уж запах от него такой, что и в морге, наверное, ароматней будет. Не побоюсь сказать: от трупа приятней пахнет!

Довольный тем, что никто его не перебивает, Петрович вытянул шею к зеркалу, висевшему над рулём, убедился, что на заднем сиденье слушатели внимают ему безотрывно, мотая

из стороны в сторону головами в такт тряске машины, и торопливо продолжал оглушать своими откровениями:

– А звуки иной раз из болота такие услышишь, что и словами не описать ужас, прямо смертный ужас, который в душу вползает! Как будто из преисподней кто завывает! Если уж судить по справедливости, то и как же можно не тронуться умом, живя рядом с такими запахами и звуками? – Он оглянулся, как бы требуя от слушателей согласия, и при этом выпустил из внимания дорогу, отчего первая же ухабина так бросила машину в сторону, что водитель еле справился с управлением и долго ещё выворачивал поровнее, слушая нелестные чертыхания своих пассажиров. – Вот даже жена моя как-то раз – уж не помню, трезва ли была, нет ли, – но отошла она этак вечером от дома подальше (чёрт её зачем-то понёс на ночь глядя), и вот посмотрела она, значит, в сторону этой самой трясины и увидала там такое, отчего кондратий её чуть было и не хватил, голубушку. Я потом чуть не час её обмахивал и обдувал, в себя приводил! Привиделось ей, дуре, что из болота будто бы кто-то вылез.

– Да ты погоди! – вклинился наконец в его речь Волчара и тут же пожалел об этом, ибо чуть не откусил себе язык на какой-то кочке. – Ты мне лучше скажи: что ж Лярва-то, давно ли пьёт? С мужем начала или до него? И куда муж-то подевался?

– А вот уж кто из них кого споил – это и вовсе загадка! – с готовностью ответил Петрович. – У нас ведь как, у русских: всё всегда по чуть-чуть начинается. Всё зреет у нас, и долго зреет, всё наливается соком, как раковая опухоль, пока не выльется наружу таким потоком гноя, что упаси господи! Так у нас и с бунтами народными, с революциями, так и с пьянством, так и с озверением души человеческой. Терпеливый мы народ, очень терпеливый, но, наконец, при оглядке на прошлые века начинает казаться, что уже и чересчур терпеливый. Гнойники мы, русские-то, ей-богу, гнойники! Сначала этак наливаемся гноем – а потом лопаемся, да так, что мало не покажется! – Волчара толкнул оратора, чтобы переходил от общих рассуждений к делу, и Петрович тотчас смекнул это, выезжая на развилку и поворачивая вправо. – Да, так вот. Они оба помладше меня будут, так что я их обоих с самого детства помню. Ну, поначалу дети да дети, все одинаковые, все друг с дружкой в общей толпе носились, и все в одной школе учились. Не разобрать ещё было, кто и кем станет. А потом, когда я уж давно работал и своей семьёй жил, они оба – Геля и Митька – школу-то, значит, позакончили и давай думать, чего делать дальше. Да только недолго думали. Как ведь в молодости: «Покурим?» – «Давай!» – «Выпьём?» – «Давай!» Начиналось всё с детских потайных глоточков и окурочков. А мать у неё была жёсткая баба, но и пьющая тоже. Увидит, что дочь выпила, – прибьёт, хотя и сама в уматину при этом.

Какой же толк от такого битья? В общем, сначала, что называется, пригубляли, а потом и присосались! У нас ведь праздников-то в стране много. Ну-ка, перечти-ка их все – сразу и не упомнишь. У нас ведь, в России, ежели сложить праздники личные да государственные, то и выйдет, что чуть ли не каждый месяц надо праздновать, то есть пить! А не будешь пить – мы на такого давить начинаем, заставляя, а мы всем народом, всем обществом ох как могуче умеем заставлять! Ну, не мне вам объяснять – сами, чай, русаки, и сами из пьющих!

Тут оратор слишком резко вывернул руль, Волчара повалился на Шалаша всем телом и досадливо выругался, прикрикнув сельскому мыслителю:

– Ну куда, куда тебя всё поводит?! Ты давай к делу ближе!

– Вот-вот, я и говорю, – закивал головой Петрович. – В общем, к той поре, когда надумали они жениться да съезжаться, уже были оба готовы к тому, чтобы начать пить, но не готовы к тому, чтобы начать жить! Ну а съехались как раз в этот дом у болота, где померла её бабка, Карловны-то. И, вместо того чтобы работать да семью строить, они давай пить, пить, пить – и ничего больше! Мы все прямо так и ахнули от этого, никто не ожидал. Но и за собой вины тоже никто не чувствовал – вины в том, что звали, и в том, что наливали, и в том, что уговаривали да заставляли, быть может. Никогда мы в этом вины за собой не чувствуем. Мы убеждены



почему-то, что каждый за себя сам всё решает, а ведь это не так, ей-богу, не так! И давление от общества есть, кто бы что ни говорил, и оно тоже много чего решает, общественное давление.

– Ну-ну, не отвлекайся! И кстати: далеко ли нам ещё? – Волчаре до смерти надоело трястись на ухабах, и он хотел уже просто остановиться и отдохнуть в любом месте, хотя ещё и не доехали до цели: отдохнуть как от тяжёлого пути, так и от трескотни Петровича.

– Далеко ли? – Петрович принялся вертеть головой во все стороны. – Так, вот просека. Там линия электропередачи. Да нет, недалеко. Вот через пару поворотов выедем на трассу, а там совсем близко будет до «кармана», где стоят ваши машины. Я чаю, понравились вам наши леса?

Разговор принял направление легковесное, и, пока они обсуждали качество окрестностей и качество местной охоты, «Нива», попетляв и попрыгав ещё немного, наконец действительно выехала на трассу, повернула влево и помчалась по старому пупырчатому асфальту, в котором камней было больше, чем битума. Через полчаса Шалаш первым признал поворот, куда следовало сворачивать, и ещё через малое время они завидели небольшую автозаправочную станцию и совсем уж крохотную автостоянку возле неё, где они оставили три дня назад свои автомобили.

Кругом, по обе стороны от дороги, стоял уже не хвойный, а лиственный лес, и облетевшие голые берёзы печально раскачивались из стороны в сторону под наплывами холодного осеннего ветра. Земля была устлана грязно-жёлтой влажной листвою, готовой принять снег и как будто уже просившей зиму о воцарении. Небо, покрытое тяжёлыми сизо-серыми тучами, быстро нёсшимися над лесом, гнетуще давило на землю своим низким, ощутимо влажным, мглистым подбрюшьем. И при взгляде на этот подвижный ноздреватосерый и холодный небесный свод становилось неприятно, жутко и зябко. Стояла середина дня, однако в лесу не было заметно никакого движения, ни малейшего признака жизни, ни перелёта или крика какой-либо птицы. Пернатые, улетев в тёплые края, поспешили покинуть это недоброе место, и даже голые и мокрые берёзы, казалось бы, исконно русские деревья, монотонно раскачивались и как бы шептали:

«И мы, и вы здесь чужие». Лес был уже лиственным, не хвойным, но, как ни странно, вовсе не стал от этого светлее и веселее, а по-прежнему оставался мрачным, гнетущим, давящим своею сенью и таинственно недобрым, словно зверь, приготовившийся к смертельному броску на непрошенных гостей.

Пока ходили и разминались, Петрович с довольным и возбуждённым видом обошёл все три автомобиля своих новых городских знакомых, похлопал их по багажникам, по капотам, задал несколько технических вопросов и, наконец, спросил:

– Вот этот, что ли, аппарат вашего раненого, который мой Фёдор поведёт?

– Он самый, – подтвердил Шалаш и кинул флегматичному молчуну Фёдору ключи от внедорожника Дуплета.

– Ну и как, – бодро спросил Петрович, – поедем за вашей медведицей или раздумали? Только уж вы мне поподробней обскажите, куда шли да куда поворачивали. Мне ведь понять надо, по какой дороге нам ловчей поехать.

– Мы не раздумали, мы поедем, – Волчара прислонился к своей «Тойоте» и задал вопрос, не дававший ему покоя: – Но ты так и не рассказал о том, куда делся её муж, этот самый Митька.

Все четверо встали в кружок. Охотники приготовились выслушать очередное длинное повествование – и были очень удивлены услышанным:

– А это один Бог ведает, куда он делся! Только два года назад он исчез, будто провалился сквозь землю.

– Это как так?

– А вот так: бесследно исчез, и всё. Мы ведь в деревне, вообще-то, редко заходим к Карловне: на отшибе она живёт. И притом на жутком отшибе, как я уже говорил, из-за болота-

то. Да и она нечасто в магазин или ещё куда выбирается. Затворница она так-то, запойная затворница. Так что мы долго и не знали ничего. Но однажды я всё-таки зашёл к ней, уж не помню зачем. Позапрошлой зимой дело было. Зашёл и спрашиваю: так и так, где, мол, супруг твой Митрий?.. Да, вспомнил: что-то у него самого и хотел попросить по хозяйству, у Митьки. А она мне с ходу, как кувалдой по голове: «Не знаю!» Я тоже вот, как ты сейчас: «Это как же такое может быть? – говорю. – Да ты, чай, не расслышала с перепою, не поняла меня? Я говорю: муж-то твой, Митька, куда делся?» Она отвечает: ушёл, дескать, ещё осенью за грибами и не вернулся. А сама синюшая, глаза дикие, так и сверкнули в меня огнём! Девчушка-то её из-за шторы своей испуганно выглядывает. Она ведь всегда за шторкой у неё почему-то сидит: прячется от кого, что ли. Хоть и редко я у них бывал, но дочурку всегда в одном месте видел: за этой самой шторкой, значит, в углу. М-да, оно, конечно, того. – он красноречиво пошевелил пальцами и поморщился, покачав головою, однако же останавливаться на судьбе девочки не стал. – Ну вот, я у неё и спрашиваю: «Так может, – говорю, – давно пора сообщать куда следует? Чтобы розыски начали и так далее законным порядком? А Карловна мне в ответ: «Ещё чего! – говорит. – Он, может, к другой бабе ушёл, а я его тут с собаками разыскивать буду? Это, – говорит, – вам, мужикам, лучше знать, куда вы от жён уходите!» Помню, говорит она мне все эти речи, этак тихо, бойко, спокойно говорит, словно и давно уж у ней все эти слова на языке вертелись и наконец свободу получили. Да вдруг, сказавши, подошла она ко мне быстро-быстро и тихо-тихо, как только она ходить умеет, словно привидением подплыла (на меня аж, вот побожусь, холодком повеяло и ещё чем-то, неприятным таким, стылым, словно из погреба), да и хлопнула у меня перед носом дверью! Только, перед тем как совсем захлопнулась дверь, я вдруг увидел в щель глаза её. – Дойдя до этого места, почитаемого рассказчиком, видимо, очень важным, он быстро оглядел поочерёдно всех стоявших в кружке: слушают ли? Слушали. Помолчавши, Петрович глубоко вздохнул полной грудью и продолжал, неожиданно понизив голос: – И не дай бог никому увидеть этаким взгляд! Налитые кровью они были, глаза-то, вот прямо как два стакана с кровью, и очень-очень внимательные. Острый такой был взгляд и абсолютно трезвый. Он у меня поэтому в памяти и отложился, её взгляд, что чудно как-то показалось: только что была синяя и пьянущая, хоть иголкой коли, почти мёртвая, – и вдруг, в мгновение ока, этот кристально трезвый, внимательный, колющий взгляд. Б-р-р, и вспомнить-то жутко! – Он помолчал, покачал головою и опять огляделся, уже улыбаясь. – И на этом баста, товарищи! Никакой родни у них обоих не осталось, все от водки перемерли – обычное дело в русских деревнях, – так что если уж родная жена не пошла в полицию, то никому другому это и подавно не надо. Так и сгинул бедный Митька, как будто и не жил вовсе. Вот только дочка от него и осталась, бедняжка, которой имя даже родная мать не помнит.

Волчара и Шалаш ошеломлённо переглянулись.

– Ну и страсти ты нам тут рассказываешь, Петрович, – передёрнулся Шалаш. – Пропавшие люди, пронизывающие взгляды, стаканы с кровью.

– Святую правду, вот, ей же богу, святую правду! – немедленно парировал Петрович. – А вы уж как хотите: верьте или нет. Ну так поехали, что ли? А то дотемна не управимся!

Волчара кивнул и не спеша достал ключи от своей машины, затем направился к ней медленным, раздумчивым шагом. Шалаш – тот ещё не двинулся с места, ибо что-то в рассказе Петровича, какая-то часть рассказа упорно теребила его сознание своею незаконченностью, настойчиво требовала продолжения. Казалось, что-то промелькнуло в словах Петровича очень-очень пронзительное и интересное, кем-то напрасно оборванное, но на чём необходимо было остановиться повнимательнее. Очевидно, медливший Волчара (что, вообще-то, было ему несвойственно) испытывал ту же неудовлетворённость. И лишь когда Петрович и сын его уже дошли до «Нивы» и «Паджеро» Дуплета и уже совсем было собирались садиться за руль, Шалаш наконец вспомнил.

– Пстой-ка, Петрович! – сказал он. – А что ты там говорил про испуг твоей жены? Вроде как что-то там в болоте её сильно напугало.

– Ах, это! – Петрович улыбнулся, довольный тем, что сумел поразить слушателей. – Да привиделось ей, будто из болота вылезла какая-то нечисть. Баба есть баба, что с неё взять!

– Ну, ты уж расскажи, раз начал, – попросил и Волчара, обернувшись.

– Дело туманное, тут я только со слов жены знаю. – Петрович смущённо почесал затылок, кажется, стыдясь мифотворчества собственной супруги. – Вишь, в чём суть, ночь тогда была звёздная, то есть тёмная, и рассмотреть что-то чётко не было никакой возможности. Тем более что она ещё и сама была под градусом, под хмельком, значит. Ну говорит, что увидела чёрный силуэт на двух ногах, который вылезал из болота и, роняя по пути комья грязи и тины, направлялся к дому Карловны. Как увидела его моя благоверная – или сама себя убедила, что увидела, – так сразу и обмерла, глаза закатили да и грохнулась в обморок. Больше уж ничего и не видела. А я, когда вышел за ней из дому, тоже по сторонам особо не глядел, потому как и не для чего было, а только подхватил её на руки да потащил в дом. После, когда она очухалась и начала голосить и рассказывать, что видела «двуногий ужас» – прямо так и сказала: «двуногий ужас», – тогда уж я, конечно, из дома вышел и до болота прошёлся, сколько она меня ни останавливала и ни страшила. Ну и что? А ничего! Только надышался болотной вонью. Никого живого там на берегу не было. И ни на берегу, ни на пути к дому Карловны не увидел я никаких следов или каких-нибудь там комьев грязи, тины или другой подобной пакости. Правда, надо признать, что и света у меня с собой не было – дурак, позабыл прихватить фонарь. Ну да чёрт с этим со всем! Мне-то что надо было сделать? Успокоить перепугавшую саму себя бабу. Вот я её и успокоил, когда домой вернулся.

– А это когда всё было? – медленно спросил Шалаш, сам не понимая, с какой целью задаёт этот вопрос. – Уже после того, как исчез мужёк этой Карловны?

– После! Год назад это было, прошлым летом. Да ладно вам, хватит бабьи страхи обсуждать. Пора ехать! – И Петрович, махнув рукой, полез в свою «Ниву».

Волчара недоумённо окинул Шалаша взглядом:

– Ты это для чего сейчас спрашивал?

Шалаш некоторое время молча смотрел ему в глаза, силясь поймать ускользавшую очень странную мысль, в которой он не мог дать себе отчёта и сформулировать её ясно, но про которую мог сказать, что она именно странная и какая-то, может быть, немного жуткая. Однако эпитеты эти не проясняли суть самой мысли, и, несмотря на все усилия мыслителя, сия смутная, трудноуловимая, странная и жуткая мысль, витавшая вокруг и никак не дававшая себя ухватить, всё же так и исчезла бесследно, испарилась неразгаданною, оставив послевкусие лёгкой неудовлетворённой досады.

Рассевшись наконец по машинам, они поехали вслед за Петровичем.

Нет нужды рассказывать о поисках тайника, где Волчара спрятал трупы медведицы и медвежат, которых она столь безуспешно пыталась оградить от гибели ценою собственной жизни. Достаточно только сказать, что в конце концов этот тайник был найден. Свежевание медведицы производил один Волчара, и поскольку ему хотелось, чтобы шкура была непременно с когтями и головой, то провозился он достаточно долго и завершил свой труд уже при наступлении сумерек.

Возвращались в деревню уже затемно, когда чёрные стены вековых елей, слившись с беззвёздным покрытым тучами небом в непроглядный мрак, окружили с двух сторон огни медленно ехавших четырёх автомобилей и словно хотели раздавить их собою. Петрович на одной из развилок ошибся с выбором обратного пути, и вместо возвращения той же дорогой, какой ехали поутру, он вывел спутников к деревне по старой, давно неезженной и заросшей высокой травой очень узкой дороге мимо жуткого болота. Это болото словно притянуло их, услышав дневные о себе пересуды, и Волчара, вёзший скатанную шкуру прямо в салоне, не знал, от

чего запах гуще и тяжелее – от влажной ли шкуры медведицы или от ужасного смрада гнилых болотных испарений. На одном участке пути, слишком близко спускавшемся к трясине, Шалаш неожиданно забуксовал, окунув колесо в вязкую жижу, и выбрался оттуда далеко не сразу, весь взмокнув и даже трясясь от внезапно нахлынувшего острого и ничем не объяснимого ужаса. Ему на какой-то миг показалось, что это проклятое болото затягивает его в себя осознанно и злонамеренно, словно движимое некой разумной волей. И когда он выглянул из окна и с отчаянием посмотрел на увязшее колесо, то готов был присягнуть в том, что в пляшущем свете фар ехавшей сзади машины он различил охватившие колесо две зеленовато-чёрные влажные руки какого-то человекоподобного монстра, тянувшегося к нему из кошмарной и жадной хляби. Впрочем, к чести Шалаша надо признать, что выбрался он из болотных объятий сам, не позвавши никого на помощь, хотя сдержать готовый вырваться крик ужаса стоило ему немалых усилий.

Когда все автомобили гостей были припаркованы на обочине дороги возле калитки Лярвы, Петрович и его сын простились с Шалашом и Волчарой. Последний, откровенно говоря, был не прочь ещё поужинать и выпить всем вместе, но, будучи не вправе приглашать Петровича в чужой дом, он ожидал аналогичного приглашения от самого Петровича. Однако их проводник после утомительного дня и невесёлых рассказов был мрачен и хотел, судя по всему, только спать.

На прощание он бросил:

– Храни вас Бог! – и неожиданно, помедлив, добавил: – И возвращайтесь уж поскорее домой из наших гиблых мест!

А затем скрылся в ночи вместе со своим сыном.

## Глава 6

Волчара и Шалаш вошли во двор, расстелили шкуру для просушки прямо на земле так, чтобы пёс не мог до неё добраться, и постучали в дверь, когда настенные часы через приоткрытую форточку дома еле слышно проббили полночь. В этот раз Лярва открыла дверь, хотя и тоже бесшумно, но почти мгновенно – точно дежурила у порога или опять подглядывала сквозь шторы второй комнаты. Произнесла глухим голосом: «Ужин на столе», – она развернулась, пересекла сени и прошла в кухню. Однако надеждам Шалаша на то, что она не сядет с ними за стол, не суждено было сбыться: через полчаса она опять присоединилась к их застолью и опять принялась пить водку наравне с мужчинами.

Угадав по редким колыханиям занавески, что девочка по-прежнему прячется за нею, и соединив это с жутковатыми рассказами Петровича, Шалаш вдруг почувствовал не только полное отсутствие аппетита, но и стойкое желание как можно скорее убраться из этого проклятого места. Он посидел некоторое время для приличия за столом, чтобы не огорчить быстрым уходом своего обидчивого товарища, немного и выпил вместе со всеми, однако поглядывал при этом на Лярву столь особенным и неприязненным взглядом, что она наконец это заметила.

– Ты чего это? – спросила она. – Чего пялишься?

– Да нет, я так. – Шалаш потянулся и изобразил зевоту. – Сплю я уже просто, глаза слипаются, ничего не вижу. Ладно, вы как хотите, а я спать!

С этими словами он встал и, провожаемый липким взглядом Лярвы и уговорами Волчары остаться, ушёл-таки в спальню и закрыл за собою дверь. Чем и приблизил событие, единственным гарантом против которого являлся сам, пока находился в гостинной.

Волчара и Лярва опять остались одни и продолжили совместное возлияние. Но если хозяйка дома, как обычно, напрочь забыла о родной дочери, во всяком случае, ни минуты о ней не задумывалась, то Волчара, пораженный рассказами Петровича, не только всё время помнил о присутствии в комнате ребёнка, но и как-то странно, всё более длинно косился на занавеску.

Как и сутки назад, алкоголь чем дальше, тем больше затуманивал рассудок пьющих, накладывая путы на их языки и, напротив, ослабляя узду на инстинктах и пороках. Давно дремавшие в подсознании, тщательно от всех скрываемые, они всё более настойчиво просились наружу, тем более что сам предмет порочных устремлений находился совсем близко. Волчара уже откровенно подолгу смотрел на угол комнаты, где пряталась девочка. Этот угол манил его, манил неудержимым, дьявольски притягательным, от всех до сей поры скрываемым вождедением. Перед его опьяневшим взглядом комната вдруг закружилась в диком вихре, и сквозь адово коловращение он вдруг нечётко, туманно, но и несомненно увидел, как в полу посреди комнаты внезапно открывается дверца погреба и сквозь полыхавшее снизу пламя в помещение медленно вползает влажное, зеленовато-чёрное, длиннорукое голое чудовище из болота. Дыхнув на своего единственного зрителя болотным смрадом, оно уставилось на него бледно-жёлтыми глазами, открыло красную пасть, по краям которой лились потоки гниющей слизи, и расхохоталось неслышным хохотом. Будучи отвлечён какой-то репликой Лярвы, Волчара на миг отвернулся от этого порождения мерзостной трясины, а поверотившись к нему вновь, с отвращением увидел, как из расползшегося чрева монстра один за другим полезли бледные, голые, гадкие и порочные бесы – бесы самого подлого и преступного сладострастия. Они были человекоподобны фигурами, однако лиц их Волчара никак не мог рассмотреть, несмотря на усиленные старания. Эти бесы плотоядно вылизывали друг друга, тёрлись друг от друга срамными местами, вступили друг с другом в адскую стремительную пляску – и при этом, косясь на Волчару, подмигивали ему и приглашающе кивали в сторону запретного плода, находившегося, в углу, за занавеской. Наконец последние центры торможения в его сознании отключились, последняя узда на пороках разорвалась, последние остатки человеческого облика поки-

нули его душу и, вовлечённые бесами насильно в адову пляску, ринулись с ними вместе в разверстый и пышущий огнём погреб, крышка коего тотчас с хлопанием затворилась.

Помотав головою, Волчара уставился на Лярву невидящим, полубезумным взглядом. Она истолковала его взгляд по-своему и заплетающимся языком спросила:

– Ну что, раздеваться, что ль?

Он не сразу ответил, промышал нечто нечленораздельное, затем вдруг схватил её за волосы и с усилием пригнул всё туловище и голову к столу, лицом вниз:

– Слышь, Лярва, надоела ты мне! – проворчал он, не замечая потёков слюны из своего носа и рта и, соответственно, не утруждаясь их утиранием. – Девку твою приведи! Я дам за неё больше, много больше, чем три бутылки пойла, которых стоишь ты сама.

Она попыталась вырваться, но он держал её крепко и ещё ударил виском об стол, чтобы не дёргалась. Тогда она бешено забилась в его руках, норовя дотянуться до глаз и волос обидчика. Из груди Лярвы раздались низкие, совершенно неженские, утробные звуки. Волчаре, который прилагал невероятные усилия для её удержания, вдруг показалось, что сбоку неслышно подкрался один из тех самых плотоядных бесов, мимоходом повернул к нему голову с невидимым блинообразным лицом, затем наклонился к столу в такой же точно позе, как Лярва, и начал медленно, с хлопающими звуками, сливать своё мёртвенно-бледное голое тело с её телом. И вдруг страшной угрозой, сверлящим животным ужасом повеяло от этой женщины, и Волчара ощутил этот ужас до того остро, что выкатившимися из орбит, дико вытаращенными глазами смотрел на её затылок и почему-то был уверен, что вот сейчас, через мгновение этот затылок с тем же хлопающим звуком преобразится в её лицо, а спина её – в грудь, что она окажется лежащей на спине, обхватит его своими тощими ногами и принудит к тошнотворному совокуплению. Однако вместо всего этого Лярва вдруг перестала биться в его руках, а, приглядевшись, он обнаружил, что и сливавшийся с её телом бес куда-то исчез.

Волчара застыл, настороженно наблюдая за согнутой в дугу, униженно склонённой к столу женщиной. Она была неподвижна. Молчание затягивалось и само по себе становилось жутким, и, когда Волчара, вновь ощутив прежний испуг, уже хотел ослабить свою хватку и отпустить Лярву, ему внезапно послышались тихие издаваемые ею звуки. Он прислушался, но не смог различить характер этих звуков своим затуманенным сознанием. Он даже не был уверен, что это слова, и засомневался, уж не шипит ли она там по-змеиному. Тогда он наклонил свою голову к её голове и, присмотревшись, понял, что она, прильнув лицом к столу вполоборота, косится на него спокойным широко раскрытым глазом и что-то бормочет.

– А? Чего? – спросил он неожиданно тонким, высоким, примиренческим голосом, будучи уже и сам не рад всей этой ситуации.

И здесь он наконец услышал её слова:

– Сколько? – свистяще прошелестела Лярва. – Сколько ты дашь мне за неё?

Он ошеломился и сначала не хотел верить собственным ушам, даже растерялся. Затем чувство победителя и уверенность в себе вернулись к нему, а с ними вместе прежним огнём запылали и запретная похоть.

– Тысячу! – выдохнул он. – Я дам тебе тысячу!

При этих словах рука его, сжимавшая её шею, расслабилась, и Лярва смогла распрямиться. Потирая покрасневшую шею, на которой ещё белели отпечатки его пальцев, она повертела головой влево и вправо, издавая позвонками хрустящие звуки и не сводя неподвижного взгляда с лица Волчары, отчего ему опять стало не по себе. Мелькнула мысль: вдруг она сейчас нанесёт неожиданный и разящий удар по нему, например, удар топором, отчего череп его с мокрым чавканьем расколется на две красно-серые половины? Он беспокойно посмотрел на её руки: они были свободны и явно ничего не прятали. Но правая рука, как бы оправдывая его опасения, вдруг стала медленно подниматься в его сторону. Не понимая причины этого движения, он инстинктивно напряг свой живот, чувствуя, что начинает трезветь от опасности.

Однако рука Лярвы не достигла его тела, но, согнувшись под прямым углом, повернулась ладонью вверх, обнаружив всего лишь желание получить деньги.

– Давай, – просто сказала Лярва.

Всё ещё недоверчиво смотря на неё, он полез в свой бумажник, достал синюю тысячную купюру и вложил в её ладонь. Спокойно положив деньги в карман кофты, она развернулась и неспешно, чуть покачиваясь, направилась к углу, где за занавеской пряталась ни о чём не подозревавшая девочка.

Твёрдой рукой мать отодвинула жалкую грязную шторку и открыла путь к своей дочери.

Девочка сидела на табурете с ногами, поджав колени к подбородку, и когда она увидела перед собой грозную фигуру матери, то сжалась и подобралась ещё сильнее, уподобясь испуганно нахохлившемуся воробышку. Она нервно и быстро переводила глазки, оглядывала вышивавшиеся перед нею две большие фигуры – неподвижную женскую и еле стоявшую на ногах, качавшуюся мужскую – и не могла взять в толк, чем она провинилась и почему мать смотрит на неё таким ледяным взглядом.

А Лярва спокойно подалась вперёд, взяла дочь за руку и, подведя к продавленному дивану, принудила сесть. Затем она вдруг наклонилась к девочке, приставила свой лоб почти вплотную к её лбу и, глядя исподлобья мертвенноравнодушным взглядом своих серых глубоко посаженных глаз в самое дно души ребёнка, тихо и внушительно, с угрозой произнесла:

– Будешь делать всё, что он прикажет. И не вздумай мне хныкать!

Сказала – и удалилась из комнаты степенным, размеренным шагом, деловито поглядывая по сторонам и ещё успев по ходу движения смахнуть с некоторых поверхностей пыль или крошки своим грязным полотенцем.

Ребёнок недоуменно покосился на пьяного дядю, который был занят тем, что сосредоточенно и с немалыми усилиями снимал с себя джинсы. Очевидно, Волчара воспринимал приближавшееся событие как нечто совершенно обыкновенное и рутинное, как простой физиологический акт наподобие принятия пищи или выхода до ветру, и потому он приступил к этому акту с логически следуемого начала – с простого раздевания, точно имел дело с женой или любовницей, а не девятилетним ребёнком. Факт передачи денег послужил ему залогом того, что проблема уже решена и услуга куплена, посему никаких трудностей с получением этой услуги не предвидится – точно так же, как не было трудностей и вчера с самой Лярвой. Нелёгкий труд по снятию штанов никак ему не давался, и он, обливаясь потом и икая, запутавшись ногой в штанине, принялся с ругательствами прыгать по комнате, пока не наскочил на стул и не завалился на пол со страшным грохотом, к сожалению, не разбудившим в соседней комнате Шалаша и воспринятым из кухни Лярвою просто как начало домогательств до её дочери.

А девочка, увидев это падение взрослого мужчины, по наивности решила, что дядя с нею играет и пытается рассмешить, и залилась тоненьким смехом, впрочем, смущаясь и краснея.

Он вставал долго, с трудом. Но в итоге встал, тяжело дыша и весь потный. Обильная слюнь по-прежнему клейкими нитями свисала из-под его носа, стекала из угла рта. Осоловело поглядев по сторонам тем хмурым и деловитосерьёзным взглядом, который бывает только у мертвецки пьяных людей, близких к потере сознания, он сфокусировал наконец с большим трудом взгляд на девочке и медленно двинулся к ней, как был, в футболке и трусах, с голыми ногами. А она всё ещё хихикала и безбоязненно взидала на него снизу вверх.

– Улыбаешься. Это хорошо, – промычал он. – Иди-ка сюда!

Обхватив её руками, он повалил девочку на диван и грузно придавил сверху всею тяжестью своего тела. Почувствовав, что ей не хватает воздуха для дыхания, она забилась под ним, высвободила сначала голову, затем плечики – и вдруг выскользнула вся, упав с дивана на пол.

– Что?! – заревел он. – Ты бежать? Ах ты, сучка!

Протянув в сторону могучую волосатую руку, он без труда дотянулся до девочки, ухватил за волосы, отчего она немедленно и громко захныкала, и, проведя рукою широкую дугу,

заставил разбежаться и ударил головою об угол стола. Не понимая, почему смешной дядя вдруг рассердился и за что её наказывает, она, держась за ушибленное место и имея возможность выскочить в сени и на улицу, не сделала этого, а пробежала мимо входной двери, достигла своего угла, опять укрылась там и задёрнула занавеску, надеясь то ли спрятаться таким способом, то ли что дядя о ней позабудет или уснёт. А он, охваченный пьяным упрямством, уже опять был на ногах и, сильно шатаясь, хватаясь руками за стол и стулья, выписывал мыслете по всей комнате. Затем сорвал с треском жалкую тряпицу, ухватил девочку за горло, наотмашь и с чудовищной силою влепил ей пощёчину и начал, издавая какие-то животные звуки, этой же рукою срывать с неё затрапезное серенькое платьице, подаренное не матерью, а одной из соседок во время очередной пьянки. Ничего не понимая, она закричала в голос – и он тотчас переместил свои пальцы с её горла на рот. Корчась от боли, обездвиженная и насильно безмолвная, она в отчаянии возвела к нему глаза, надеясь, быть может, хотя бы силой взгляда остановить его. И увидала безумный взгляд зверя, горевший неистовым пламенем тёмной и низкой страсти.

А дальше наступил кромешный ад. Боль, ужас, страшное унижение и безысходное отчаяние, полнейшая беспомощность и давящий, чудовищный кошмар на полчаса захватили в свои липкие объятия этого несчастного ребёнка. Никто в целом мире не мог ей помочь, и никто ничего не мог уже исправить. Непоправимое совершилось.

Когда Волчара наконец уснул – прямо здесь же, на полу, – она долго и неподвижно лежала, обливаясь слезами и тихо стеная. Встать на ноги сил не было, и, с трудом повернув голову со спутанными нечистыми волосами к двери, девочка теперь только осознала, какую совершила ошибку, не выскочив во двор, когда ещё была такая возможность. Впрочем, не исключено, что во дворе её бы нашла и вернула в дом мать.

В комнате было уже темно, так как единственная горевшая ранее под потолком лампочка была несколько минут назад задета и разбита насильником.

Девочка попыталась поползти до двери, но не могла даже ползти. Во многих и многих участках тела ощущалась острая или тупая боль, повсюду чувствовались ссадины и кровоподтёки, и единственное, на что было ещё способно её тщедушное тельце, – это неподвижно лежать, моргать и хныкать. И она захныкала. Из глаз обильно, в семь ручьёв полились жгучие слёзы обиды, неудержимые рыдания нашли выход и стали раздирать, кромсать её грудь изнутри, и тонкий, залиvistый плач девочки сначала только послышался, а затем начал набирать силу. Она плакала – и плакала всё громче и громче, отчаянней и безутешнее. Судорожно вздымавшаяся в рыданиях грудь, казалось, хотела самую резкостью и истеричностью своих движений восполнить, компенсировать неподвижность обессиленных конечностей. Она плакала, плакала в голос – и наконец была услышана.

Всё так же бесшумно, тихо, без малейшего скрипа отворилась дверь, и в комнату из сеней вошла бесформенная, ужасная в своей мешковатости тень. Эта тень прошелестела складками длиннополой юбки, прошуршала старой и растянутой от долгой носки кофтой и подплыла к девочке.

– И-и-и... И-и-и... – ребёнок заикался от плача и не умел справиться с дыханием. – Ма-а-амка! Он... он... меня...

– Я кому говорила: не хныкать! – вдруг оборвала её злобным, свистящим шёпотом Лярва. – Спать людям не даёшь. Выметайся во двор! Я спать хочу.

Потрясённая жертва мигом притихла, в ужасе глядя на возвышавшуюся над ней чёрную тень матери.

– Ну, чего ждёшь? Выметайся, я сказала!

Девочка протестующе замычала и попыталась объяснить Лярге причину своей неподвижности:

– Больно, мамка.

– Потерпишь! Не ты первая!



С этими словами Лярва схватила свою дочь за руку и поволокла к выходу. Волоочь пришлось в буквальном смысле, так как двигаться девочка не могла. В лунном свете по полу за ней тянулся влажный чёрный след крови.

– Да ты что же, издеваться надо мной?! – свирепо гаркнула Лярва, дёрнув ребёнка за руку так, что чуть не вышибла суставы из уключин.

– Не могу я... мамка.

– Ну так я всё равно же тебя вытащу, мерзавка!

И с удвоенным остервенением, пожелав, как видно, переупрямить дочь, Лярва потащила её из дома наружу, на улицу, в осенний холод и ночь.

Она оставила беспомощное тельце девочки недалеко от будки Проглота и на прощание, торопясь вернуться домой, бросила только одну фразу:

– Обживайся вон в конуре, сучка! Там твоё место.

С этого вечера Лярва, устав затрудняться воспоминанием настоящего имени своей дочери, прискучив путаться в именах и желая остановиться на одном определённом имени, отныне постоянно называла её только одним прозвищем – Сучка. Она стала Сучкой как для родной матери, так и – вскорости – для всех забредавших в этот дом гостей. А значит, и для всего мира – её мира.

Когда входная дверь дома за Лярвою затворилась, Сучка впервые в своей недолгой жизни поняла, что совершенно не хочет жить. Самое ужасное заключалось в том, что девятилетняя девочка не просто почувствовала нежелание жить, но именно поняла, осознала его и сформулировала в своём детском уме. Прямо так и подумала: «Не хочу всего этого. Хочу на небо». Она лежала на холодной земле, обдуваемая гулявшим понижу и пронизывавшим до костей ветром, и смотрела на это самое манившее к себе небо. Небо было чёрным и беззвёздным в ту ночь, и диск луны, насильно продираясь сквозь пелену туч, бледно освещал лежавшую на земле маленькую фигурку обессиленного, избитого, окровавленного ребёнка, вышвырнутого из дома родной матерью в холодную ночь, на голую землю, к собачьей конуре. Можно ли было думать иначе в данной ситуации, чем думала эта девочка своим неразвитым, детским, мало познавшим умом, не имевшим понятия о возможности другой жизни и вообще ни о чём, кроме мрачных обстоятельств собственной?

Она быстро почувствовала, что замерзает. Слёзы на глазах сами собой высохли, да и было уже не до слёз: её маленькое тельце стало сотрясаться крупной дрожью от холода.

– Проглот. Проглот! – позвала она негромко.

Огромный пёс, затаившийся внутри своей конуры после того как услышал во дворе голос хозяйки, теперь высунул нос наружу, опасливо покосился на крыльцо, убедился в безопасности и выбрался во двор, гремя цепью. Он подошёл к Сучке, некоторое время смотрел на неё сверху вниз, затем тщательно обнюхал и тихонько заурчал, почуяв много странных запахов. Затем он лизнул девочку в лицо, медленно обошёл вокруг и улёгся рядом, а уж она нашла в себе силы подползти к нему и вжаться поглубже в его тёплый пушистый бок. Так и заснули они рядом на голой земле, оба урча животами от голода, оба дрожа от холода, два несчастных и всеми забытых существа – маленькая девочка и крупный пёс, оказавшийся единственным, кто пожалел её и пришёл на помощь.

А наутро охотники выехали из дома Лярвы, не забыв прихватить с собою шкуру убитой медведицы. Сучка наблюдала за их отъездом из собачьей конуры, куда они с Проглотом забрались под утро, заслышав доносившиеся из дома звуки пробуждения. Выезжали уже все втроём, так как Дуплета доставили из больницы с загипсованною рукой, хотя бледного, но бодрого и всё пристававшего к товарищам с вопросами, что он пропустил и как они тут без него смогли обойтись. Однако от вопрошателя отмахивались, ибо слишком много было забот по отъезду. Шалаш, едва перекусив, сонный и хмурый, прошёл к машинам и более в дом не возвращался. Лярва вышла поутру во двор, заглянула в будку, увидела обоих постояльцев этого убогого

жилища, взиравших на неё с одинаковым выражением испуга, и, ничего не сказав, вернулась в дом. Позже стало ясно, что поиском местопребывания дочери она занялась даже не по собственному почину, а по подсказке или просьбе Волчары, который, выходя из дома с Дуплетом и вынося рюкзаки и ружья, вдруг остановился возле конуры, положил вещи на землю и постоял там некоторое время. Он определённо знал, что Сучка находится внутри, и в этом факте его ничто, как видно, не удивило и не возмутило. Очевидно, он размышлял только над тем, стоит или нет прощаться с девочкой. Наконец, потоптавшись некоторое время в явном замешательстве, он всё же, даже не наклонившись и не посмотрев внутрь будки, поднял опять свои вещи и прошагал к машинам. Вообще, во всё утро речи слышались только от Дуплета, к которому вернулась его обычная словоохотливость и который оживлённо рассказывал друзьям о своих впечатлениях в районной больнице и о том, что в городе ему предстоит длительное стационарное лечение. Однако слушатели хранили мрачное, угрюмое молчание.

Когда все гости уехали, Лярва прошелестела юбкою мимо будки, вернулась в дом, затем через какое-то время опять вышла, и Сучка с Проглотом услышали, как рядом на земле звякнуло нечто металлическое. Собака сразу раздула ноздри и шумно задышала, облизываясь. Девочка же не столько уловила запах, сколько по поведению пса догадалась, что мать вынесла ему еду. Однако она ошиблась в том, что еду вынесли только собаке.

Дождавшись ухода Лярвы в дом, Сучка и Проглот выбрались из конуры и увидели старую, проржавевшую эмалированную миску, в которой обыкновенно выносилась пища животному. В этот раз в посудине количество жиденького супчика с кусками заплесневелого хлеба несколько превышало обычную норму. Это была увеличенная порция пищи, щедро пожалованная матерью и хозяйкой в единой миске для пса и дочери.

## Глава 7

С этого дня Сучка стала жить в собачьей конуре.

Как ни странно, в какой-то степени она даже почувствовала облегчение: теперь ей не нужно было прятаться за занавеской, боясь пошевелиться и привлечь к себе внимание неосторожным звуком или движением. Она более не должна была выслушивать злобные ругательства и пьяные выкрики, которые теперь долетали до неё лишь изредка и глухо, из-за закрытой двери дома. Ушли в прошлое встававшие перед её боязливым воображением сцены неистового разгула и самого разнузданного разврата, в которых её родная мать совершенно лишалась соответствия не только высокому званию женщины, но и самому человеческому имени. Будем откровенны: жалкая и узкая занавеска не могла быть надёжным заслоном от этих сцен и не препятствовала их восприятию. Восприятие же означало осведомлённость, а последняя порождала привыкание. Наконец, самый домашний запах – во всей его спёртости, проспиртованности и насыщенности затхлыми, кислыми, рвотными и иными чудовищными миазмами – не тревожил более обоняния девочки.

Имея перед собой изо дня в день самые недостойные и грубые, если не сказать хуже, примеры поведения взрослых и их общения между собою, ребёнок хотя и оставался ребёнком, однако же не был и полным несмышлёнышем: понимал или старался понимать если не всё, то многое, очень многое. И, соответственно, осмысливал картину мира, ибо был человеком и не мог не мыслить, не пытаться объяснять и не пытаться понимать.

Вот и девочка думала. Конечно, думала по-детски, во многом наивно, и весьма часто мысль её витала слишком далеко от плоской и пошлой истины – однако и не так, чтобы совсем отрываться от действительности и улетать в какую-то детскую сказку. Чему-чему, но витанию в эмпиреях такая жизнь не способствовала. Да и о какой сказке может идти речь, когда Сучка просто не знала, что это такое? Никто и никогда не рассказывал ей перед сном сказок, никто и никогда не читал ей на ночь Пушкина, и ничто в этом мрачном доме не могло развивать фантазию ребёнка или питать художественную чувствительность. Увы, эта девочка не грезила о Питере Пэне, Незнайке или Карлсоне, потому что и не слышала никогда таких имён. Тлетворное воздействие всего непосредственно окружавшего её мира, всей де градирую шей жизни её родителей, всей каждодневной кошмарной действительности, ничего общего не имевшей с понятием «счастливое детство», сделали то, что самый образ мышления этого ребёнка помимо воли выработался приземлённый, серьёзный и угрюмо пессимистический. Ядовитые семена уже были брошены в эту детскую душу, и недоставало сущей малости, какого-нибудь последнего толчка и самой непродолжительной временной отсрочки, чтобы семена эти начали давать страшные всходы, чтобы подняла голову с шевелящимися волосами новоявленная горгона и чтобы отвратительные черви-личинки обратились во взрослых, жутких, косматых насекомых.

«А так даже лучше! – думала Сучка. – Так от мамки подальше.»

В первые дни она старалась не задумываться о причинах собственного выселения из дома, ибо мысли эти были сопряжены с неприятными воспоминаниями. Однако позже как существо мыслящее, нуждающееся в честном отчёте перед самим собою о своём жизненном статусе, его причинах и перспективах, она всё-таки задумалась и нашла на удивление простое и безобидное всему объяснение. Вот оно: «Тяжело мамке одной. Ей иногда нужен дядя для этого. Да и денежку дядя даёт за это. А тот гадкий дядя решил сделать со мною это. Вот мамка и выгнала меня, чтобы я не мешала ей и чтобы дяди меня не видели». Это было единственное понятное её неразвитому рассудку объяснение, ибо она не знала таких слов, как «изнасилование» и «педофилия», не знала, что над нею было совершено чудовищное уголовное преступление, и восприняла его как нормальное жизненное явление, свойственное взрослому миру. Да, оно ей не понравилось и сформировало в её сознании плохой, неприятный отпечаток, но

не потому, что она почувствовала унижение человеческого достоинства или несправедливость по отношению к себе, а только потому, что сугубо физически ей это было больно и неприятно. Однако в целом она была готова смириться и с этим явлением мира взрослых, как смирилась уже со многими другими, тоже неприятными, но каждодневно обычными и оттого неизбежными. «Видать, так оно положено Боженькой!» – эта покорная мысль была одной из самых обычных в размышлениях Сучки о мире.

Постепенно девочка принаравливалась к своей новой жизни под открытым небом. Ночью грелась от Проглота, словно от грелки, днём делила с ним полупротухшую трапезу. Правда, трапеза иногда задерживалась или вовсе не доставлялась, когда Лярва, будучи в очередном запое, просто забывала накормить дочь и собаку. В таких случаях они голодали, иногда целыми днями. Бывало и так, что терпение Сучки истощалось и она, дождавшись ночи, украдкой пробиралась в дом, где спала мертвецким сном её пьяная мать, шмыгала на кухню и выносила оттуда что-нибудь съестное себе и собаке. Пищей им служили обычно или жиденький супчик недельной давности, с мясом из консервов или вовсе без мяса, с одной вермишелью, или безвкусные каши на воде, куда Лярва частенько забывала добавить соль и тем более масло, которое вообще бывало в доме редко, или, наконец, остатки со стола после попойки: лежалые и очерствевшие куски колбасы, или холодец с явным душком, или отварные и уже полусохшие рожки, густо облитые кетчупом и взявшиеся коркой.

От жажды они были избавлены благодаря колодезю, находившемуся на самой околице селения и, следовательно, не слишком далёкому от дома Лярвы. Этот колодец обслуживал несколько окраинных домов, и с большою флягою к нему ходила иногда Лярва, а иногда и Сучка – причём даже и теперь, будучи изгнана из дома. В таких случаях мать просто подкапывала флягу к собачьей конуре, коротко говорила: «Сходи», – и возвращалась в дом, чаще всего нетвёрдым шагом.

Кроме того, возле углов дома ещё покойный отец девочки установил бочки для сбора дождевой воды и полива огорода. Огород, впрочем, давно был заброшен и весь зарос лопухом и бурьяном, но бочки до сих пор стояли на своих местах, служа в летнее время источником питья для собаки (а теперь и для ребёнка), а также источником воды для водных процедур. Как Сучка научилась у Проглота мыться, уже описано выше.

Проглот, кстати, принял в свой дом нового жильца с олимпийским спокойствием. Это был флегматичный и на редкость добрый огромный пёс с грустными глазами, который, несмотря на свирепую наружность, любил ласкаться и весьма часто облизывал девочке лицо и руки. Будучи ещё и довольно умным, он быстро оценил пришедшие с нею бонусы в виде, во-первых, взаимного согревания телами в холодное время года, а кроме того, – и главное, – её вылазок в дом за едою, благодаря чему питаться он стал гораздо чаще, чем раньше. Они быстро сдружились ввиду общего питания из одной миски, совместного ночлега и, что немаловажно, на почве общего страха перед Лярвой, при выходе которой из дома оба стремглав прятались в своей будке. Кстати, первым ел всегда Проглот по праву сильного, но он великодушно оставлял девочке немалую долю, которую она выбирала из миски прямо руками. Если же что-то и после неё оставалось, то пёс доедал остатки и вылизывал миску до блеска.

Платице девочки вследствие особенностей её новой жизни быстро загрязнилось и пришлось в негодность. Видя, что Лярва не выносит ей новую, более тёплую одежду, а наступивший ноябрь всё более ощутимо давал о себе знать ночными заморозками, Сучка сама однажды ночью забралась в дом и стащила себе из шкафа какие-то старые кофты, юбки, шали и платки своей матери. Эти вещи она спрятала в дальний угол будки и периодически одевалась то в одно, то в другое, либо, в сильные морозы, напяливала на себя всё вместе. Когда собачий дух от этого тряпья становился невыносимым, девочка простирывала одежду в тех самых бочках с дождевой водой либо в корыте, находившемся во времянке, а затем сушила прямо на крыше будки. Лярва, кажется, не обратила внимания на пропажу некоторых вещей из дома и на то,

что дочь стала появляться во дворе в её собственной старой одежде, а если и обратила, то отнеслась к этому факту с тупым равнодушием пьющего, катящегося по наклонной, вырождающегося человека, не интересующегося в жизни уже ничем, кроме водки.

Постоянное балансирование на краю нищеты и голода приводило к тому, что Лярва, спрятав подальше свою нелюдимость и злобность, выбиралась всё-таки временами из дома в деревню, а то и в райцентр, чтобы заработать. Она нанималась уборщицей в школу или деловой центр, работала и дворником в детском саду, и кассиром в общественном туалете. Иногда женщины-соседки приходили к ней и просили подменить их на работе, и если Лярва была в сознании и состоянии, то соглашалась.

Немаловажным источником дохода для неё оставались охотники, грибники и путешествующие туристы, которые хотя и редко, но всё же забредали к ней на ночлег. В таких случаях она брала деньги и за постой, и за то, что её дочь именovala словом «это». Чаще всего такими постояльцами были одни и те же люди – как правило, любители попойнствовать вдали от семей и отдохнуть от жён и детей в мужской компании, да ещё и с «особыми» услугами Лярвы. Эти клиенты иногда задерживались у неё довольно надолго, устраивая недельные и более длительные запои и оргии, в которых хозяйка пользовалась всеобщим «вниманием»... Посреди пролитой водки, пятен блевотины и удушающего сигаретного дыма, сотрясая округу неистовыми воплями и самыми похабными ругательствами, в доме Лярвы устраивались столь дикие и запредельные клоачные сцены, что нет ни красок для их шадящего описания, переносимого для чувств человеческих, ни слов для хоть сколько-нибудь литературного поименования.

Этот дом был клоакой, истинною клоакой всех окрестных мест, и знали об этом не только соседи и односельчане, но и на многие отдалённые районы расплзлась уже липкая, позорная, гадкая слава о Лярве – слава, в которой со временем начали проступать мрачные, леденящие кровь оттенки чего-то уже и вовсе пакостного, жуткого и нечеловеческого.

Подобно тому как струя грязной воды, вливаясь в большой объём чистой, расплзается в её толще и загрязняет её, так и дурная слава о Лярве растлевающе действовала прежде всего на ближайшее её окружение – на соседей. И метастазирование этой опухоли проявилось в том, что на огонёк к нелюдимои хозяйке крайнего сельского дома начали напрашиваться односельчане-мужчины. Это стало случаться как раз в ближайшую зиму, о которой речь ещё впереди. Поначалу Лярву удивляло и озадачивало неожиданное внимание соседей, которых она знала с раннего детства, но истинные их цели скоро стали ей очевидны. То один, то другой из них забредал под благовидным предлогом чего-то позаимствовать или обсудить новости, имея уже на руках бутылку водки, а в уме – готовность заплатить деньги. Затем он присаживался за стол по-соседски, заводил дружескую беседу за рюмочкой, после чего обыкновенно добивался своего без больших усилий. Неизвестно, легко ли дался Лярве такой перелом давно сложившихся отношений, однако она на этот перелом пошла, чем лишь усугубила нелестную молву о себе. Впрочем, её саму эти пересуды нимало, кажется, не беспокоили.

Сучка же воспринимала эту вереницу мужчин, «пользовавшихся» её мать, весьма прагматически для своего детского возраста, хотя такое восприятие и внесёт, быть может, нелестные и непривлекательные краски в портрет этой несчастной, поруганной, сызмала искалеченной души. Провожая взглядом очередного мужчину, входившего в дом и уединявшегося с её матерью, девочка думала так: «Ну вот, опять дядя пришёл к мамке за этим. Значит, даст ей денежку. Значит, и нам с Проглотом перепадёт чего-нибудь вкусного! Хоть не будем голодом сидеть.».

Поразительно ещё и то, что решительно все визитёры Лярвы, как односельчане, так и приходящие из леса гости, буквально все до единого, прекрасно знали после хмельных и задумчивых разговоров с хозяйкой, что дочь её проживает в конуре вместе с собакой, иные даже и выходили специально во двор удостовериться в этом. И, узнав сию новость, все о ней не то чтобы забывали, но как бы отодвигали на второй план, полагая, что во внутренние дела между матерью и дочерью постороннему соваться нечего. Постепенно, с приходом зимы и с

дальнейшим течением времени, создалась уникальная ситуация всеобщей осведомлённости о живущей в конуре девочке. Все об этом знали, и все молчали.

Но самым страшным в новой жизни девочки была даже не эта всеобщая и поголовная осведомлённость о ней. Самым страшным было то, что Лярве уже довольно скоро пришла в голову мысль посмотреть на собственную дочь как на источник дохода. И случилось это уже в конце ноября, с очередным визитом Волчары. В этот раз он явился один, и не с охоты, а проездом, возвращаясь из какой-то деловой поездки и решив просто свернуть с трассы в деревню и ещё раз овладеть беспомощной девочкой, не уходившей из его извращённых воспоминаний и фантазий.

Вторая встреча ребёнка с Волчарой не уступала первой в жестокости, болезненности и омерзительности. Часа через три после того, как Волчара вошёл в дом, Лярва, выпив с гостем изрядное количество водки, вдруг показалась во дворе. Молча подойдя к конуре, она взялась за её крышу обеими руками и, присев, принялась пинать Проглота одной ногой и шипеть, чтобы он убирался вон. Когда жалобно скуливший пёс наконец понял, чего от него требуют, и выскочил во двор, гремя цепью, Лярва встала на четвереньки, протиснулась в конуру сама и добралась наконец до девочки, испуганно жавшейся в угол. С ужасом дочь наблюдала, как мать, глядя на неё равнодушными, рыбьими глазами исподлобья, подползает ближе и ближе, крепко хватая за руку и, ни слова не говоря, влечёт за собой наружу, а затем, через двор, к крыльцу дома. В доме Лярва ввела ребёнка в ту самую первую комнату, где уже совершилось столько преступлений и где за столом на продавленном выцветшем диване восседал тот самый ненавистный девочке человек. Опять, как и в прошлый раз, мать сказала своей дочери бесстрастным, чужим голосом: «Сделай всё, что скажет наш гость. И не вздумай кричать!» – и удалилась.

В этот раз девочка действительно не кричала, так как сознавала всю бесполезность криков и жалоб. Она вынесла тошнотворную экзекуцию стоически и покорно, уже как необходимое неприятное жизненное явление, подобно тому, как больной глотает гастроэнтерологический зонд или терпит введение в мочеиспускательный канал катетера. Она лишь всё время старалась зажмуривать глаза, чтобы не видеть это синее и слюнявое лицо, старалась максимально отрешиться от происходящего и не слышать издаваемых звуков и ругательств, старалась не чувствовать... ничего. Именно вследствие своей покорности и первой в жизни попытки толстокожего, слепоглухонемого отношения к действительности Сучка физически пострадала в этот раз гораздо меньше, чем в прошлый, и, когда вонючая туша насильника наконец выпустила её из своих потных рук и захрапела прямо на полу, она смогла, не дожидаясь матери, тихонько выползти во двор. Там она долго, почти половину ночи отмывала ледяной водой из бочки всё своё маленькое поруганное тело.

А наутро Волчара, отдав Лярве установленную между ними таксу за девочку, уехал, но этот его визит имел гораздо более несчастливые следствия, чем прежний, ибо заронил в ущербное сознание Лярвы идею не только пассивно продавать себя мужчинам в ответ на их просьбы, но и самой активно предлагать им уже не только себя, но и девочку в пользование. И гадкое преступление над ребёнком, о котором раньше клиенты Лярвы не догадывались и не могли себе даже представить, теперь было им возвещено и привлекательно представлено самую же мать продаваемой дочери. Справедливости ради надо сказать, что не все посетители этого дома соглашались на новое предложенное хозяйкою развлечение. Некоторых всё же смущала и останавливала некая живущая в сознании струна, дрожащая и не позволяющая перешагнуть через черту даже в состоянии опьянения. Однако другие согласились изведать новое и неведомое, а, попробовав раз, затем и привыкли.

Так новый ужас вошёл в жизнь обитавшей в собачьей конуре девочки. Она стала игрищем в руках приходящих мужчин – не слишком часто, но разве возможно в этом вопросе вести речь в категориях «часто» или «редко»? Они тоже, вслед за матерью, стали именовать девочку

Сучкой, приняв с готовностью и послушанием это уродливое прозвище как само собой разумеющееся и естественное. Накинутый ею на себя покров толстокожести и отрешённости во многом спасал её сознание от так называемого сдвига, когда вследствие чрезмерности переносимых страданий вдруг происходит некий щелчок и в сознании наступает смещение границ, замена реального, нормального мировосприятия ирреальным и ненормальным. Не исключено, что длительная жизнь и взросление ребёнка в описанных чудовищных условиях, исключавших всякую возможность роста и развития личности, привела бы в итоге к печальной деградации этой личности, огрубению, упрощению и опустошению духа. Возможно, так бы всё и случилось, если бы уровень страданий оставался относительно неизменным по своей тяжести. На деле, однако, мучения девочки приближались ещё только к новому витку ожесточения, ибо бессердечие её матери не знало предела, а кровожадность – насыщения.

Произошла не психическая деградация личности; её опередила иная, не менее страшная метаморфоза – с телом девочки. Ведь наступила зима.

## Глава 8

За ноябрём пришёл декабрь, и ударили морозы. Если днём девочка ещё могла заниматься какими-то делами или хоть играть и бегать с собакой, то ночью Проглот предпочитал спать, и его невозможно было растормошить для подвижных занятий. И, как ни поворачивалась Сучка разными боками к тёплому и шумно дышащему телу пса, как ни вертелась и ни пыталась согреться, мороз всё равно пробирал её до костей. Натянутые и намеренные на себя все до единой тряпки не спасали, а родная мать и думать забыла о том, что её дочь – часто уже выступавшая в роли кормильца собственной матери (в свои-то девять лет!) – отчаянно мёрзнет за тонкими дощечками конуры, продуваемой всеми ветрами. Ночами напролёт она тряслась крупной дрожью и часто не могла сомкнуть глаз по этой причине. Иногда из-за нестерпимой стужи девочка впадала в настоящую панику, в дикий животный ужас, когда, уже не зная куда деться от ломающего кости ледяного ветра, она кидалась к крыльцу дома и начинала скрести в дверь, стенать и плакать, громко взывая к маме о помощи, – но Лярва не открывала. Всеpronикающий холод причинял несчастному ребёнку настолько жестокие, невероятные страдания, что в тяжелейшие минуты этой пытки в его детское сознание вползали даже мысли, подобные следующей: «Домой, в тепло, только бы в тепло! Ну,пустила бы меня домой мамка, а я бы там грязью лицо мазала! И не смотрели бы они на меня, только на неё бы смотрели, и ей бы самой больше доставалось!..» В другой раз она думала так: «Нет, не могу, не могу, не могу, не могу. Надо было захватить мамкину шубку – ей ночью всё равно не надо! Она бы и не заметила спяну. Ну нельзя мне домой – так хоть вынесла бы мне „для согреву“, как они говорят. А не вынесет – так лучше уж помереть!»

Времянка, к сожалению, запиралась Лярвою на замок и весьма редко открывалась – лишь в случае большого наплыва гостей, не уместившихся в доме или излишне шумных и беспокойных. В последнее время таковых не было, и дверь этого хлипкого строения – пусть тоже холодного, но всё-таки предназначенного для людей, а не для собаки, – была заперта на ключ.

Иногда Проглот, осязая на себе сильную дрожь девочки, принимался её вылизывать своим горячим влажным языком. На какое-то время это приносило ей облегчение, однако после мокрую кожу схватывало морозом стократ мучительней. Не будучи никем научена, она по наблюдениям за собственными ощущениями сама догадалась, что активные интенсивные движения способствуют согреванию, и часто, не в силах уснуть и терпеть муку, принималась бегать по двору и вокруг будки. Бегала до изнеможения, до головокружения, до болей в груди из-за вдыхания холодного воздуха, – но чуть останавливалась, как через пять минут мороз вновь сковывал её своими тисками, проникал сквозь кожу и мясо, оплетал ледяными объятиями кости и внутренние органы, принуждая с трудом, трепетно биться самое сердце. Крепкий от рождения организм не поддавался простуде, но изменялся, изменялся быстро и зримо. Сучка начала приметно худеть; кожа её, ранее тонкая и бледная, приобрела нездоровый красноватый оттенок и обветренную загрубелость, а глаза на осунувшемся лице заняли ещё более господствующее положение. Недостаток витаминов в пище привёл к тому, что она с удивлением заметила у себя красный, кровавый цвет слюны и появление слабых, ноющих зубных болей. Зубы не могли более терпеть холод и она, от природы и так малообщительная, стала и вовсе молчуньей, перестав разговаривать даже с Проглотом.

Казалось, её организм терпел страдания уже через силу и чем далее, тем более настойчиво искал выход, выплеск в болезни. Он мучительно искал эту болезнь и никак не мог решить, на какой же фундаментальной, страшной болезни остановиться, каким же ещё бичом поразить это терзаемое тело, чтобы у него уже не было исхода и чтобы стремительный конец всем мучениям грянул как избавление и акт милосердия. Искал – и наконец нашёл.



Однажды поутру, после особенно морозной ночи, Сучка, всегда прятавшая руки и ноги под тёплым боком Проглота, выпростала из-под него свои конечности и с удивлением обнаружила их полнейшую нечувствительность к холоду. Ни кисти, ни стопы не требовали более согревания их дыханием или физическими упражнениями – они просто перестали реагировать на холод совершенно и тем даже обрадовали девочку, не распознавшую обратившийся к ней оскал новой опасности. Она беспечно просидела и прогуляла весь день по двору, нисколько не стараясь укрывать и согревать руки и ноги, но, наоборот, только радуясь тому, что хоть в этих частях своего тела получила избавление от мучений. Когда Лярва вышвырнула во двор миску очередных отбросов, Сучка их ела, зачерпывая онемевшими и слепившимися пальцами, словно ложкой. Правда, в этот день её ещё беспокоили иногда резкие покалывающие боли в ступнях и кистях, однако на следующий день исчезли и они, навсегда покинув омертвевшие ткани.

Произошло это в середине декабря, а ещё через неделю, под Новый год, Лярву «осчастливил» очередным приездом Волчара. Он прошагал мимо конуры к дому, даже не посчитав нужным поздороваться с девочкой, хотя и прекрасно знал, где она пребывает. А когда ближе к ночи Лярва вновь завела в комнату свою трясущуюся от холода, хромающую на бесчувственных ногах дочь, чтобы продать её в очередной раз этому распутному пьянице, то он наконец прежде самой матери обратил внимание на то, что конечности ребёнка отморожены.

– А это что за диво? – произнёс он удивлённо. – Ты видела? Чего это пальцы-то у неё почернели?

Лярва впервые присмотрелась к рукам и ногам дочери и, пожав плечами, бесстрастно ответила:

– Видать, малость подморозилась.

– Да тут уже не малость, – покачал головой Волчар, щупая пальцы девочки при полнейшем её безразличии. – По-моему, она ничего не чувствует. Эй, Сучка, как тебе вот это?

И он сильно, с вывертом ущипнул девочку за тыльную часть почерневшей кисти. Она стояла, пошатываясь на чужих уже ей ступнях и покорно моргала, молясь своему детскому Боженьке только об одном – чтобы ей позволили подольше побыть в тёплом помещении, пусть даже и ценою гадкого этого, и не возвращали бы на мороз. Она не почувствовала щипка совершенно.

– Вот это да-а-а. – протянул Волчар.

– Да уж, – флегматически опять пожала плечами Лярва, не зная, что сказать.

– Ну ладно, я надеюсь, что нам это не помешает! – добавил он и усмехнулся. – Ты иди-ка на кухню, мать, а я тут с твоей дочуркой уж сам как-нибудь управлюсь.

Когда Лярва ушла и когда он «управился» и заснул, то первое, что сделала девочка, – это шмыгнула в сени, к вешалке с верхней одеждой. Она ступала по полу мёртвыми, холодными ступнями и раскачивалась, как на ходулях. Используя негнущиеся пальцы рук, словно крючья, Сучка сдёрнула с вешалки старый и рваный пуховик своей матери, затем, стараясь двигаться бесшумно, вынесла его во двор и запрятала подальше в угол будки, к недовольно заурчавшему Проглоту. Затем вернулась в дом и хотела таким же образом вынести старые зимние боты Лярвы из валяной шерсти, давно проеденные до дыр молью и лежавшие в самом дальнем углу полки для обуви, – однако в ту минуту, когда она уже открывала входную дверь, прижимая к груди драгоценную ношу, кто-то схватил её за ухо железной рукою.

– Ты чего это тащишь из дома, Сучка? – свистящим шёпотом прошипела Лярва. – Никак, мать родную обкрадываешь? Обдираешь меня как липку? Так вот же тебе за это!

И она с неистовой силой вlepила дочери громкую звенящую пощёчину, отчего из носа ребёнка мгновенно и обильно закапала кровь. Затем Лярва била её ещё и ещё, наотмашь, с ругательствами и криками, воображая себя, вероятно, в роли благомысленного родителя, исполняющего важную воспитательную роль по искоренению в ребёнке дурных наклонностей.

Экзекуция продолжалась долго, и удары приходились куда придётся – по затылку, плечам, рукам ребёнка, вяло пытавшегося прикрываться. Сучка терпела побои молча и лишь заливалась слезами, искренно считая, что мамка наказывает её «за дело», хотя этим «делом» были рваные, почти развалившиеся на части от старости, многодырные боты, уже много лет не носимые Лярвой, совершенно ей не нужные и, главное, абсолютно и прочно забытые ею до сего дня. Однако теперь она с чувством восстановления справедливости отобрала своё «добро» у дочери, швырнула это «добро» опять в тёмный угол и потащила избитого ребёнка обратно на мороз. Тут уж Сучка не выдержала, принялась упираться и тихонько захныкала:

– Ма-а-амка! Оставь!.. Ма-а-амка! Пожалей!.. Засту-жу-у-усь я там совсем.

– А вот будешь знать, как родную мать обворовывать, др-р-рянь такая! – в бешенстве выкрикнула Лярва, швыряя девочку с размаху на землю перед входом в собачью будку.

Она развернулась, широко шагая в своей мешковатой кофте, дошла до крыльца и здесь почему-то задержалась. Уже взявшись за дверную ручку, Лярва вдруг оглянулась на свою плачущую дочь тёмными от гнева глазами, пожевала губами в какой-то мрачной задумчивости и тихим, не предвещающим ничего доброго голосом произнесла:

– А если застудишься, то смотри – пожалеешь! Этак скоро нечего тебе будет застуживать! И скрылась в доме.

Сучка не поняла тогда, что имела в виду её мать. Но, когда наутро Волчара шёл по двору к калитке, провожаемый Лярвой, девочка из угла своей конуры услышала произнесённые им странные слова, которые поразили её воображение липким ужасом, словно ударом бича. Он сказал:

– Лучше отрежь, чтобы не пошла гниль!

– Я уж и сама подумала, – ответила Лярва. – Сделаю, не волнуйся. Мне и самой не с руки, чтобы она гнила живо.

Он уехал. Сучка провела ещё несколько дней и ночей, радуясь украденному пуховику, но и жестоко продолжая мёрзнуть даже в нём. Всё это время её не оставляла некая беспокойная мысль, внушённая подслушанным разговором. Самое чёрное, кошмарное подозрение о предмете этого разговора угнездились в её сознании и отравляло жизнь ожиданием нового беспощадного и безысходного ужаса, обещанного родною матерью. Ей было страшно даже думать об этом, но вместе с тем в душе жила горькая уверенность в том, что этот страх обоснован и скоро совершится нечто чудовищное.

Этот ужас наступил тридцать первого декабря.

В этот день Лярва, готовясь встречать Новый год в полном одиночестве, напилась ещё с утра и весь день проваливалась в беспамятстве, выкрикивая иногда в бреду какие-то ругательства по неизвестному адресу. К вечеру она очнулась и молча сидела около окна, тупо смотря во двор и не имея уже ни сил, ни желания вливать в себя очередную порцию водки. Случайно взгляд её упал на вход в конуру Проглота, где в наступающем вечернем сумраке, при последних отблесках рдяной морозной зари, она вдруг заметила промелькнувшее личико девочки. И мысль, страшная и окончательная, неотвратимо всплыла в её памяти и подвигла к действию.

Лярва спустилась из кухни в подпол, долго копошилась там в инструментах убитого мужа, гремела чем-то и наконец вытащила наверх старую и ржавую ножовку по металлу. Она протёрла её лезвие тряпкой, смоченной в водке, расстелила на столе газету и положила сверху ножовку. Затем налила водку в два больших гранёных стакана, посидела ещё некоторое время возле стола, словно умаявшись от тяжёлой работы, встала и пошла к выходу. Взгляд у неё был стеклянным, глаза смотрели из-под большого нависающего лба твёрдо и решительно, губы были сурово поджаты – одним словом, она имела вид человека, маниакально настроенного совершить какое-то трудное дело, никем от него не требуемое, но им самим вменённое себе в обязанность.

Кутаясь в шаль и зябко поёживаясь, Лярва вышла во двор, неспешно подошла к будке и негромко позвала:

– Сучка, поди сюда!

Ответом было молчание, ибо девочка с острою, пронизывающе прозорливостью поняла, просто почувствовала, что час настал и сейчас с нею будут делать что-то ужасное.

В следующий миг Лярва вытащила за цепь Проглота и пинком отшвырнула его, жалобно скулящего, в сторону. Затем встала на колени, просунула голову в конуру и, тщательно обшарив её внутренность тускло горящими исподлобья глазами, остановила на дочери рыбий, немигающий взгляд. Сучка содрогнулась, глядя в эти неподвижные, космически бесстрастные, отливающие красным цветом зрачки.

Когда Лярва повлекла свою дочь к крыльцу, цепко держа её за почерневшую, бесчувственную руку, то тяжёлый и леденящий кровь ступор внезапно сковал члены девочки. Словно материализованный кошмар из сна, страх парализовал её тело и душу быстро, хищно, как падает лезвие гильотины. Матери пришлось в буквальном смысле волочь по земле отяжелевшее тело ребёнка, скованного вязким объятием ужаса и не способного передвигать ноги. Открыв дверь в первую комнату, Лярва широким, размашистым движением руки вбросила девочку внутрь, отчего та упала на пол, как сноп пшеницы. Тогда мать рывком, ухватившись под мышки, подняла дочь с пола и усадила её на стул подле стола, мрачно сопя и тяжело переводя дух.

Сучка сидела ни жива ни мертва, глядя остановившимся взглядом на расстеленные перед нею газеты, на лежавшую поверх них ножовку и на стоявшие рядом доверху наполненные стаканы. Лярва села сбоку от дочери, у другой стороны стола, и некоторое время молча косилась на неё немигающими, жутко округлившимися, сомнамбулическими глазами. Наконец она взяла один из стаканов с водкой, поставила его перед Сучкой и что-то сказала, однако разобрав слова было невозможно: слышалось лишь какое-то глухое бульканье. Сглотнув помешавшую ей слюну, она внятно и чётко повторила:

– Выпей до дна!

Сучка сидела, не в силах пошевелиться. Мать повторила опять, уже цедя слова с угрозой:

– Выпей до дна, я тебе сказала!

Ответом были снова молчание и неподвижность. Тогда Лярва наклонилась вперёд, приблизив своё немигающее, лобастое и широкоскулое лицо к лицу девочки, долго, не менее минуты сверлила её взглядом – и вдруг обрушила на стол мощный, оглушительный удар ладони, отчего Сучка вздрогнула и вмиг обрела утраченную власть над своим телом. А Лярва уже схватила её за волосы на затылке, истерическим рывком поднесла к её рту стакан, надавила, раздвинула губы, затем зубы своей дочери и принялась вливать ей в горло обжигающую жидкость, визгливо крича:

– Я тебе сказала: пей! Пей! Пей! Пей!

Девочка кашляла, испуганно таращила глаза, задыхалась. И тогда мать, пригнув её голову к столу, ударяла по спине, давая прокашляться, затем вновь запрокидывала голову и снова и снова, раз за разом вливала в её рот водку, которая отчасти изливалась наружу, стекала по подбородку на шею, но попадала и внутрь, обжигая горло и желудок суровым пламенем.

Наконец стакан был опорожнен и мученица была отпущена. Пока она приходила в себя, мотала головой и восстанавливала дыхание, утирая стекавшие по щекам слёзы, её мать лихо, двумя- тремя глотками влила в себя другой стакан, точным и не лишённым изящества движением руки вытерла губы и уставилась тяжёлым взглядом на лежавший посреди стола ужасный инструмент. Он метал сквозь слой ржавчины тусклые блики на стены и властно, неудержимо притягивал к себе взгляды как истязуемой, так и истязательницы.

На часах было без четверти двенадцать, до Нового года оставалось совсем немного времени, однако девочке суждено было встретить этот праздник в океане боли и ужаса.

Никто не пришёл ей на помощь, ни один человек не явился поздравить Лярву с наступающим Новым годом – и тем чудовищнее было дыхание второй волны страха, повисшей в воздухе и тихо, исподволь кравшейся к ребёнку в этой мрачной и грязной комнате.

Лярва встала, взяла на подоконнике маленький огарок свечи на полиэтиленовой крышке вместо подсвечника, зажгла его и поставила в центр стола. Протянув левую руку, она крепко ухватила ею маленькую бесчувственную кисть дочери, положив её на стол. Затем правой рукой взяла ножовку, подержала её лезвие в пламени свечи. Лицо её сохраняло тупо-сосредоточенное выражение. Чуть покачнувшись, мать наклонилась и долго всматривалась в предмет своей предстоящей деятельности – в обмороженную руку дочери. В этот момент Сучка отвернула голову и зажмурилась. Она отчётливо ощутила, как с затылка на спину закапали крупные капли обильного пота, а вся верхняя половина тела начала сотрясаться от крупной истерической дрожи. Одновременно в голове всё поплыло и закачалось под влиянием поступившего в кровь алкоголя. Волна тошноты подкатила к её горлу и на короткое время заглушила все другие чувства.

Тем временем Лярва всё ещё принаравливалась и примерялась, в каком месте ей лучше всего отпиливать руку своей дочери. Кисть девочки была тёмная и бесчувственная, однако сразу от запястья начиналась здоровая белая кожа. Не желая оставлять на теле мёртвые ткани во избежание гниения и гангрены, Лярва отступила от тёмной кожи в белую сторону самую малость, не более полусантиметра, и решительно поднесла к беспомощной плоти ребёнка хищно сверкнувшую ножовку.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.